

«Что с нами происходит»?

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые повесть «Шукшин» Игнатия Пономарёва была опубликована в 1981 году, через семь лет после смерти Шукшина. Многие годы журнальная публикация хранилась в библиотеках российской глубинки, словно жемчуг на дне океана времени. Моему однокурснику по университету, публицисту-историку, краеведу Василию Иванченко удалось найти публикацию почти сорокалетней давности в родной ему Хакасии и отправить мне текст повести по электронной почте. А где еще могла обнаружиться журнальная публикация, как не в родных краях автора повести Игнатия Ивановича Пономарёва? Семнадцать лет прожил писатель и сценарист на золотом руднике Балахчин, в голубых кедрочах горной Хакасии, соседки раздольного шукшинского Алтая.

Пономарев учился с Шукшиным в Московском институте кинематографии (ВГИКе). И писал он о своём удивительном сокурснике, как настоящий друг! И язык в повести под стать языку главного героя, народный, отменный...

Бывал Пономарёв в родных краях уже после смерти Шукшина. Вот как описывает одну такую встречу в Хакасии Василий Иванченко, который и нашел повесть Пономарева:

«Осенью 1977 года была у меня встреча с автором. В наш кабинет редакции газеты в посёлке Шушенское зашел очередной посетитель.... Слово за слово, выяснилось наше ширинское, да еще и горняцкое землячество с Туимского и Балахчинского рудников. Игнатий Иванович Пономарев много чего нам поведал: о военном детстве, о работе на руднике и в геологоразведке, о планах в кинематографе и рассказах в «Юном натуралисте». На том встреча и закончилась.

А позже всякие следы его затерялись. Ни слуху — ни духу. От рудника, где когда-то работал Пономарёв, ничего живого не осталось. Живописная долина ручья Андат на много километров превратилась в карьеры под ковшом шагающего экскаватора и ножами японских бульдозеров и скорее напоминает лунные пейзажи. И уже не родится — не вырастет здесь человек с литературным или иным даром. И будет молчать тайга о людях, которые добывали здесь золото с первой половины девятнадцатого века, но это уже совсем другая история».

Повесть «Шукшин» оставляет самое яркое впечатление своей документальностью. Алтайский кудесник слова и мастер кинематографа Шукшин жил в постоянном конфликте с окружавшей его городской средой, со всеми привычками и проблемами советского мегаполиса. Как большой художник, попавший в большой город из алтайской глубинки, он ясно ощущал странное общее движение разных социальных слоёв нашего народа из позднего социализма к началу «рыночного» развала. Отсюда его ставший классическим вопрос: «Что с нами происходит?»

Игнатий Пономарёв передает постоянную духовную работу Шукшина через конкретные жизненные ситуации. Каждая из них надолго останется в памяти читателей. Они будут свидетелями трагического по своей сути процесса — слома хрупкой мировоззренческой советской основы жизни, которая так и не достигла необходимой для долголетия зрелости. Чуткий писатель Шукшин этот слом болезненно переживал, и страдал от общей дисгармонии отношений между советскими людьми. Страдал от общения с чуждой народу образованщиной, с наглыми торгашами, с поганой уголовщиной, с лукавыми начальниками.

Самой большой мистической тайной в судьбе писателя и кинематографиста Шукшина лично для меня остаётся вопрос: интересы какого социального слоя он выражал? Попробуем ответить на основе того материала, который есть в повести.

Игнатию Пономареву удалось запечатлеть Шукшина противоречиво-сложным, но потому и настоящим, то есть без упрощения образа и без сведения мировоззрения большого художника к простым, готовым определениям и понятиям. Всё непросто у Шукшина. Многое еще только им угадано, но ждёт осмысления и оценки.

Да, и не могло быть иначе у человека, которого в восьмилетнем возрасте соседи вместе с матерью выгнали из задымлённой избы в Сростках. После того как «борцы» с «врагами народа» забрали и расстреляли отца, мать Василия решила умереть вместе с сыном. Закрыв избу изнутри, Мария Сергеевна затопила печь и перекрыла трубу заслонкой. В доме «врага народа» не может висеть на вешалке «будёновка». В этом смысле, у Шукшина были очень сложные отношения с советской властью. «Но Василий Макарович, как ни странно, любил рабоче-крестьянскую и возненавидел бы буржуйскую власть, доживи до нее. Он понимал так, зло творила не советская власть, а именно враги советской власти (троцкисты-ленин-

цы), что оседлали власть. Сталин их почти истребил из власти. Почти... Шукшин никогда бы не примкнул к антисоветчикам, которых презирал за то, что они служат Западу в холодной войне» (А. Байбородин).

Сельского жителя Василий Макарович любил, но строгой, требовательной любовью. С городскими жителями в лице столичной творческой «элиты» у Шукшина было много серьёзных эстетических расхождений. Обыватели большого города всеми своими действиями и образом жизни вызывали у писателя гнев и отторжение.

Верно схватил автор повести Пономарёв главную творческую цель Шукшина создать образы самородков из народа, независимо от того, к какому социальному слою они принадлежали. Василий Макарович был выразителем лучших сторон русской души, как мирового явления, он был певцом всех бунтарей духа, независимо от их родословной.

«Камертоном», с помощью которого Шукшин настраивал свою творческую мысль, служил ему поэтический гений Сергея Есенина. Когда Василий Макарович своими большими крестьянскими ладонями прикасался к стволам берёз, возможно, он в это время своей душой соединялся с душой Есенина, слетавшей к нему с небес на эту встречу...

Крестьянский сын Шукшин еще в начале семидесятых годов ясно осознавал какую-то абсурдную двойственность, беспринципность всей текущей советской действительности.

Он мечтал о людях другого качества и состава, в которых — есенинская теплота и влюблённость в жизнь. Сам Господь сохранил его в детстве, чтобы сказать русским людям заветное слово. У каждого народа своя судьба, своя задача в развитии общего человека, как сформулировал эту истину Ф.М. Достоевский. Писательское слово Шукшина, образы, созданные им в кино, касались души каждого из представителей нашего народа. Как точно сказал Василий Макарович обо всех нас:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброта... Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши невероятной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

Валерий Скрипко

От автора: Те, кто очень близко знал Василия Макаровича Шукшина, прочтя это повествование, могут заметить, что автор не везде точен в хронологии шукшинской биографии. Однако сделано это мною не по рассеянности или забывчивости, а в силу здоровой необходимости. Ибо дотошное следование датам отвлекло бы от главного — возможности наиболее кратко и полно выразить то неизгладимое и неистребимое никаким временем впечатление, какое Василий Макарович оставил о себе в моей памяти за те долгие двадцать лет, что я был с ним знаком. Память моя хранит множество мгновений шукшинской жизни, так или иначе раскрывающих его характер. Но я выбрал из них лишь наиболее, с моей точки зрения, подходящие для этого повествования и, пренебрегая в известной мере хронологией, перенес и соединил их в события нескольких весьма памятных

мне дней той далекой поры, когда наши отношения с Шукшиным можно было назвать даже дружбой. И еще. Возможно, некоторые читатели упрекнут меня в том, что я рисую Василия Шукшина несколько грубоватым. На это я могу сказать лишь одно: я рисую его таким, каким он был со мной, каким я его знал и каким он вошел в мою жизнь и остался в моей памяти, без всяких прикрас.

Алтай. 1981 год

1

Осеннее утро, половина девятого. В квартире тихо, как в погребке. Я заправляю авторучку чернилами, собираюсь сесть за рассказ, и вдруг слышу: кто-то резко звонит, а затем негромко бьет три раза кулаком в дверь. Это пароль, известный лишь двоим — мне и еще одному человеку в нашем кооперативном доме. Мы придумали его сообща, чтобы беспрепятственно входить друг к другу в квартиры. Звякнув замком, я быстро открываю дверь, и в ее проеме появляется Василий Шукшин.

Он в черной рубашке навыпуск, в черных брюках и в черных валенках. Подол рубахи, обе штанины и носки валенок — все в табачном пепле. Лицо зелено-землистое, давно не бритое, волосы всклокочены, глаза воспалены — будто всю ночь кочегарил.

— Здорово, земля! — глуховато произносит он. — Ты один?

— Один, входи и здравствуй.

Василий останавливается посреди комнаты, смотрит на меня, но, кажется, не видит. Он явно чем-то расстроен, и крепко: за многие годы нашего знакомства я вижу его таким довольно редко.

— Что с тобой, Вась?

— Да так... устал.

Он проходит в мой кабинетик и опускается на табуретку. Сидит, барабана по столу своими крупными мужицкими пальцами с толстыми квадратными ногтями цвета луковичной шелухи. Голова опущена, глаз не видно. На правом виске, чуть выше его алтайской скулы, в синеватой жилке бешено пульсирует кровь.

— У тебя что... жар? — настораживаюсь я.

— Нет, перекурил малость. Три пачки за ночь саданул. Во рту сейчас — будто калошу жгли.

— А отчего ты так... шибко-то?

— Да строчка одна... — морщится он и резко вскидывает голову. — Понимаешь, только хочу ее схватить, а она, холера, прыг, как блоха! И этак — раз, и два, и три, и сто... Всю ночь ловил! А пока ловил, километров десять взад-вперед по квартире протопал. На рассвете пробовал поспать, но куда там — и во сне все ловлю, ловлю... Слышь, у тебя кофе есть? — неожиданно спрашивает он. — Сваргань, а?

Сварив кофе, я возвращаюсь с кухни и застаю Василия склоненным над раскрытым номером журнала «Октябрь» за апрель 1960 года. Он жадно перечитывает — уже третий раз за последний месяц! — подборку коротких рассказов «У нас в деревне» Николая Гонцова.

— Мать моя, мамочка, до чего же прочный талант был! — приглушенно восклицает он. — Ах, Коля, Коля!.. Ведь так туго зарядил свое перо, так звонко мог

пальнуть на всю Русь и вот на тебе — не успел, угораздило следом за Панферовым... Но Федор-то Иванович умер — не так обидно: в годах уже был и главное — свое сказал. А Коля... Эх! — В глазах Василия сухие слезы. — Давай помянем мужика. К черту кофе! Путёвых мужиков водой ли поминают! Айда ко мне!

Мы спускаемся с девятого этажа на пятый и вскоре оказываемся в квартире № 33, где Василий поселился не так давно и живет сейчас немудреной холостяцкой жизнью. Квартира невелика — в две смежных комнаты с крохотной прихожей и кухней в пять «квадратов». Большая из комнат оклеена обоями лимонного цвета в вертикальную бежевую полосу, отчего кажется значительно выше, чем есть на самом деле. На стене, приколотый швейной иглой, висит известный портрет Сергея Есенина с курительной трубкой. Мебели в квартире нет, если не считать старой раскладушки да щербатого стола с табуреткой, одолженных Василием у кого-то на время. В углу, на зеркально блестящем паркете в мелкую дощечку, возвышается стопка испечатанных на машинке сероватых листов бумаги — экземпляры сценария о Стеньке Разине. (Кстати, эти экземпляры — самая первая вещь, которую Шукшин внес в квартиру, когда получил от нее ключ. Я тому свидетель. Василий пришел тогда не один, а с директором своей кинокартины «Живет такой парень» Борисом Яковлевичем Краковским. Мы расселись на полу вокруг «Степана Разина», распечатали бутылку армянского и, закусывая желтым огурцом, отметили вселение Шукшина.) Рядом со стопкой экземпляров сценария стоит побитый чемоданчик, а возле него рассыпаны веером школьные и общие тетради в клеточку, заполненные (я уже это знаю) — каждый лист с обеих сторон — красивым решительным почерком Шукшина.

Одна школьная тетрадка, накрытая черной авторучкой, лежит на столе подле широченной жестяной банки из-под киноплёнки; в банке высится пирамида сигаретных окурков и жженных спичек. Я машинально беру тетрадку в руки — она на две трети исписана синими чернилами. Василий с легким испугом вдруг вырывает ее у меня и, свернув трубкой, быстро засовывает в карман брюк, говоря при том:

— Не надо, Игнаха! Эта штука у меня еще не готова. А показать неготовое — все равно что недоваренным угостить: едока понос прохватит. В данном случае словесный — из разных советов и предложений, а они-то как раз мне и ни к чему будут. Ведь я же сам отлично знаю; недоварено еще у меня.

Проходим в кухню. На подоконник ставятся два граненых стакана, и Василий молча наливает в них из початой бутылки болгарскую «Варну».

— Ну... — поднимает он стакан. — Земля Коле пухом и наша добрая память. Я хоть и маловато его знал, но ясно помню: светлый был парень. Умняга. От земли жил. И пел с душой. Да и на мандолине славно играл. Теперь редко кто на мандолине играет, все больше под гитару сипят да канночат, а еще чаще просто магнитофон крутят, конем бы их топтать... Ну, давай!

Выпив, Василий закуривает свою любимую «Приму». Сигареты с фильтром он не признает, шутливо отмахиваясь: «А, что с них! Дыму много, да дегтя мало, а без дегтя моей телеге далеко не уехать». Сигарета зажата между указательным и средним пальцами левой руки. Два прокуренных ногтя этих пальцев кажутся янтарными. Кисть правой руки слегка в синих чернилах.

Я люблю смотреть на эти руки. Есть в них что-то неизъяснимо притягательное и властное. Они могут вмиг засупонить хомут, собрать мотор автомобиля, врезать под дых врагу, определить сочность земли и зрелость хлебного зернышка, смонтировать ленту кинофильма, написать рассказ о сельском жителе или роман про донского атамана, мечтавшего дать мужикам волю... Многое могут эти руки!

Василий глядит в окно. Прямо под окном расстилается во всю длину нашего дома широкая черная площадка — крыша огромного продовольственного магазина. Вдали видна железная дорога с мостом через Язу. У самой воды, близ моста, стоит в неглубоком овражке деревянная изба с надворными постройками, окруженная синеватой бордовостью осеннего вишневого сада. На прибрежной лужайке пасется тучная корова, привязанная длинной веревкой к колу. Одинокая изба да корова на привязи — это, пожалуй, все, что осталось нынче от древней деревни, которой когда-то, давным-давно, владел боярин Свиблый, отчего и место так было прозвано, и прозывается поныне — Свиблово. Василий смотрит в окно, и взгляд его, полный печали и непонятной мне тревоги, опять устремлен глубоко в себя, будто он, Василий, мучительно ищет в своей душе ответ на какой-то жестокий вопрос.

— Сколько лет было Коле, когда он погиб? — вдруг спрашивает Василий.

— Кажется, двадцать восемь.

— Н-да-а, странная эта штука, жизнь: одним лишь щепотку лет отпускает, другим же пригоршнями их сыплет. И все без разбора... — молвит Шукшин, как бы рассуждая вслух. — Н-да!.. Но ничего! — Он неожиданно решительно сжимает кулаки. — Ничего, черт возьми, что-нибудь да успеется. Успеется, только спешить, спешить надо!

Почему он торопит себя — это я пойму до конца лишь спустя года три, когда Шукшин, болезненно морщась, все чаще и чаще начнет прикладывать руку то к животу, то к груди. И тогда в моем дневнике появится тревожная и немного кудреватая, но идущая от сердца запись:

«Шукшин давно и, кажется, необратимо болен. Чувствуется, сам он знает про эту необратимость, но каменно молчит — ведет себя, как его Стенька Разин под топором на плахе. Уж не своей ли недюжинной силой воли наградил он Разина?».

Но это будет позже, потом. А сейчас я спрашиваю Василия, над чем он нынче так усердствует, что стал похож на кочегара, отстоявшего у топки парохода три вахты кряду.

— Если не секрет, конечно, — добавляю я.

— Какой там секрет! — отзывается он довольно охотно. — С «Братьями» возился-возился, а нынче вот про чудиков начал писать: накатило вдруг и всего захлестнуло.

— Про чудиков? Это, наверное, что-нибудь опять комедийное, в духе героев фильма «Живет такой парень», да?

— Кхэ, «опять комедийное»... — Василия даже передергивает от непонятной мне досады. — Вот уж который раз от тебя слышу, что «Живет такой парень» — это будто комедия.

— А что же это, по-твоему?

— Кусок сельской жизни, и все.

— Но ведь смешно же!

— Да, зритель смеется, не отрицаю. Но кинокомедии я не ставил. Не ставил! — Василий смотрит на меня в упор. — Понимаешь?

— Нет.

— А ты постарайся понять. Я бриться-мыться пойду, а ты ходи по квартире и думай.

Василий удаляется, оставив меня размышлять, почему он не хочет признать свой удивительно смешной фильм кинокомедией.

— Меня в газете одна киноедка новым комедиографом обозвала, — несется его недовольно-насмешливый голос из ванной. — Я тебе не говорил еще про это?

— Нет.

— Шукшин — комедиограф... Кхэ, ничего себе ярлычок, конем бы его!.. Теперь начнется благодаря таким вот киноедкам.

— Что начнется-то?

— А то — станут, как вот ты сейчас, от каждой моей новой работы — будь то фильм или что иное — ждать, а то даже и требовать, смешного, комедийного. Понимаешь ты или нет?

И тут до меня наконец доходит: Шукшин явно опасается, как бы после успеха веселой ленты «Живет такой парень» его не внесли навсегда в список мастеров кинокомедии — жанра, который у нас почему-то принято частенько лишать самого главного — комедийного начала. Возможно, это происходит оттого, что к рождающейся кинокомедии приковывается особо пристальное внимание, и множество разных доброжелателей считают своим долгом непременно привнести в неё что-нибудь от себя. Намерение благое, да только вот это самое «что-нибудь» зачастую привносится почему-то «методом от противного» — по известной байке «Велика у стула ножка...»

— Здесь вот автору не мешало бы немножко убрать, а здесь несколько подсократить, тогда будет по-настоящему смешно, — не устают наседавать на комедиографа его доброжелатели.

И в результате всех этих «убираний» и «подсокращений» кинокомедия становится куцей. То, что должно было предстать перед зрителем как бы веселой елкой, в конце концов оказывается обыкновенной палкой. Шукшину все это известно гораздо лучше, чем мне, — может быть, как раз поэтому слова «кинокомедия» и «комедиограф» встречаются им, будто удары крапивой.

— Василий! — говорю я торжественно. — Вот я сейчас подумал, поразмыслил и пришел к заключению: «Живет такой парень» — это абсолютно не комедия, и ты — ну нисколько не комедиограф, ошиблась твоя киноедка.

— А-а, смикитил!.. — радостно хохотнув, произносит Василий и выходит из «совмешенки», глянецовито сияя бритыми щеками. — Скажу тебе: ярлычок — это штука повъедливей тележного дегтя. Вон Леня Куравлев... — Шукшин кивает на красочную афишу фильма «Живет такой парень» с изображением Куравлева в роли Пашки Колокольникова, приколотую кнопками к стене в прихожей. — Туго ему придется. Он актер всех октав, а его, попомни меня, лишь на комедийные роли тянуть будут, потому что после блестяще сыгранного им Пашки к нему приклеится ярлык «исполнителя ролей простачков». Очень обидно будет за актера. Но да ладно, жизнь позволит — сорву с него этот ярлык, дам Лене роль, диаметрально противоположную этой. — Он тычет пальцем в Пашку на афише. — Я в Куравлева очень верю.

«Варна», бритые и полоскание под краном сняли с лица Василия налет землистости, тень словно бы идущей изнутри какой-то черноты. И взглядом он больше уже не уходит в себя. Становится подвижен, на редкость разговорчив, добр, весел и даже слегка заносчив. Быстро пройдя в маленькую комнату, кричит мне оттуда:

— Иди-ка сюда, я тебе кое-что прочту!

Я вхожу в комнату. В ту самую комнату, что в будущем станет рабочим кабинетом писателя, сценариста, кинорежиссера и актера Василия Макаровича Шукшина. Отсюда он вынесет не один свой замечательный сценарий, десятки великолеп-

нейших рассказов и потрясающую трагедию «Калина красная». Сейчас в комнате пусто — шаром покати, только на подоконнике лежит куча газет и журналов, да еще висит одежда Василия в распахнутой кладовке, что виднеется в глубине комнаты. Сам он, держа в руках вырезку из какой-то газеты, что-то вычитывает в ней и похохатывает:

— Во, дает эта киноедка! Слушай, что она тут настрочила. «Залогом успеха этой добротной сделанной кинокомедии является удачно придуманный автором образ Пашки Колокольниковова». Ты слышишь — «придуманный»! Это Пашка-то у меня придуманный — ничего себе заявочка!.. Да таких чудиков, как Пашка, на свете целые легионы — зачем мне их придумывать. Хватай их за руки и веди на экран или в книжку — сами просятся! А потом, что это такое — «добротно сделанная кинокомедия»? — Он швыряет вырезку на подоконник. — Явный наговор! На кой ляд мне сдалось это — делать нарочно какую-то, хотя бы даже и добротную, кинокомедию, когда сама жизнь — сплошной смех, да зачастую сквозь слезы. Бери кусок этой жизни, выбрось длинноты да разные излишки, оставь только одну правду — и вот тебе готовая кинокомедия, без всякой там литературщины и киношных выкрутасов. Так ведь, а?

Я не могу понять, шутит он или серьезно говорит, и поэтому молчу. Но Василий и не ждет ответа. Он торопливо снимает с ног валенки, в которых частенько ходит дома. (По моим наблюдениям, у него иногда бывает что-то неладное со стопами — возможно, от избытка табачного «дегтя» в крови.) Затем Василий, порывшись в кладовке, переодевается в рубаху пепельного цвета и в серовато-черный костюм, и мы идем к двери. Здесь, в прихожей, Василий обувает черные туфли и снимает с гвоздя небольшую серую кепку и темный плащ.

— Ну, хватит лясы точить, — говорит он. — Что мы, киноеды — балаболить-то столько? Поедем-ка лучше куда-нибудь за город, на лоно природы, как писали в добрых старинных романах.

— За город... а зачем?

— А будто я знаю, — Василий нахлобучивает кепку на голову и берет плащ на руку. — С ночи еще вот вдруг захотелось в поле, на реку, и всё. Поехали, нечего в такую добрую погоду киснуть в квартире, тем более сегодня выходной. Или у тебя есть свои дела?

Дела у меня есть, но я вижу: Шукшину почему-то очень хочется, чтобы я поехал с ним. И я сдаюсь, говоря:

— Ладно, сейчас пойду к себе, оденусь и спущусь на первый этаж, встретимся внизу.

— Кстати, прихвати пустой портфель и сунь в него «аршин», — предлагает Василий, называя аршином обыкновенный стакан. — А я складни (складной нож) возьму. Есть предчувствие, что селёдочку зарежем.

Василий почему-то не любит слово «пикник» и охотно заменяет его выражениями, подобными этому — «зарезать селёдочку».

2

В подъезде я застаю Шукшина за чтением письма, только что вынутого им из почтового ящика. На лице Василия играет такая на редкость теплая, такая неожиданно мягкая улыбка, будто он глядит не на обычный листок бумаги, а смотрит в

окно, выходящее в мир, полный волшебных видений. Я догадываюсь, что письмо из Сростков от его матери, которую он любит нежно, трепетно и самозабвенно.

Василий не замечает моего присутствия. Дочитав письмо, он прикладывает его к лицу и долго стоит, вдыхая запах бумаги с материнскими строчками.

— О, ты уже здесь! — говорю я с таким видом, будто только-только появляюсь.

Василий вздрагивает, резким движением отнимает письмо от лица и быстро прячет его в карман.

— Ну пошли! — грубовато от смущения бросает он мне через плечо. — Взял портфель-то?.. Молодец. Только сперва на почту заскочим. Не возражаешь?

Мы выходим из подъезда, и невольно оба останавливаемся. На улице в разгаре та особая, несущая душе покой бархатная пора золотой осени, какую в народе прозывают «бабьим летом». Теплынь идет из последних запасов жаркого времени года. На широком сквере, разбитом в прошлом году с дворовой стороны нашего дома, замерли маленькие пожелтевшие липы, две лиственницы и молоденькие берёзки, напоминающие собой хиленьких девочек с жёлтыми косичками. Шукшин медленно направляется по аллейке вглубь сквера и замирает на его середине, ласково глядя на березки.

— Что, детки, не больно сладко на городской-то земле? — обращается он к ним, точно к живым существам. — Вас ведь, говорят, из леса привезли. Туго вам придёт-ся, пока окрепнете. Но да вам-то полегче: вам ведь прописки не надо, денег тоже...

Василий вдруг оборачивается и, подняв голову, долго смотрит на наш дом — жёлтую бетонную коробку в девять этажей с одним подъездом, стоящую на проезде Русанова под № 35 и принадлежащую кооперативу «Экран». Он то улыбается, то хмурится, и я догадываюсь, что происходит в данный момент в его душе.

Целых одиннадцать лет жил он в Москве без своего угла — то обитал в общежитии ВГИКа, то скитался по чужим квартирам без прописки, а иной раз, случилось, ночевал даже на железнодорожных вокзалах. А ведь был он уже известным киноактером и успел заявить о себе как писатель яркого самобытного дара и как талантливый режиссёр. Но, несмотря на все это, вынужден был бездомничать, пока наконец-то не добился разрешения купить жильё в этой вот самой коробке. Однако на судьбу Шукшин не озлобился, только жалеет до скрипа зубов, что неустроенность отняла у него слишком много драгоценных дней жизни. «Не будь я бездомным, я бы бог знает сколько успел уже сделать, — как-то признался он мне в разговоре. — Теперь придется навёрстывать...»

— Ничего, окрепнете, — повторяет сейчас Василий, опять обращаясь к березкам. — А потом вымахаете аж до небес! Но... — тут он грустно качает головой. — Но уже не я увижу ваш поздний возраст, как сказал один курчавый человек. Не я!..

Размышлять вслух — подобное за Василием замечается редко, лишь в часы крайнего внутреннего напряжения, вызванного явными неладями в его писательской работе, где, как известно, никто, к кому бы ты ни обратился, не в силах тебе помочь.

— Пошли дальше, проулками, — говорит он мне.

От привычки думать на ходу Шукшин шагает сутулясь, неторопливо и чуть вразвалку, но в то же время скоро и деловито. И минут через десять мы оказываемся на проезде Седова в нашем почтовом отделении № 323.

Василий покупает конверт, вынимает из кармана школьную тетрадку (не ту, что отобрал у меня в квартире, а другую: у него почти всегда при себе тетрадка или записная книжка), вырывает из нее лист и, сев за стол, начинает писать письмо.

«Здравствуй, дорогая моя мамочка!» — выводит он первую строчку и, вдруг тревожно глянув на меня, смущенно дергается и заслоняет написанное своей увесистой и широченной, как лопата, ручищей.

Я спешно отхожу от него в сторону, мысленно ругая себя за бестактность. А он сидит, набычавшись, впрочем, вскоре на лице его опять появляется та светлая улыбка, с какой я застал его в нашем подъезде.

«Ведь нежней ангела, а вечно корчишь из себя черта рогатого, — так и хочется возразить Василию. — Никак не можешь из-за своей детской застенчивости быть самим собой, отчего сам страдаешь и многих других ставишь в глупое положение, вынуждая думать о тебе как о человеке замкнутом, грубом и даже жестоком. Нельзя так, Василий Макарыч!»

Он и сам знает, что нельзя, да не может ничего с собой поделывать: уж таким родился. Вот он запечатывает письмо в конверт, и нежная улыбка, явно навеянная мысленной встречей с матерью, миг исчезает с его лица.

— Так, — деловито встает он. — Двинулись!

На крыльце почты Василий опускает письмо в синий ящик, затем выходит на проезд Седова и окидывает его взглядом — ищет такси. Но машин с зелёными огоньками нигде не видно. И мы отправляемся к кинотеатру «Сатурн» — на стоянку такси. Но и там в этот час не оказывается ни одной машины с шахматными клеточками на бортах. Топчемся в ожидании и от нечего делать глазеем по сторонам. Возле «Сатурна» лежат груды строительного мусора: кинотеатр только что построили, и мусор еще не успели убрать.

— Смотри — ларь! — тихо вскрикивает Шукшин, увидев невдалеке выброшенный кем-то старинный сундук, обитый медными полосками. — Ну-ка, обследуем его!

Сундуку лет полтора, а то и больше, но он еще крепок — сделан из дуба. У Василия горят глаза, будто перед нами лежит клад из пирамиды египетского фараона.

— Чуть подремонтировать, покрасить да клопов из щелей повытрясти — цены этому ларю не будет! — шепчет он и почему-то воровато озирается. — Надо его срочно отнести ко мне. Сейчас же!

— Да ты что, Василий! — протестую я. — Ты же Шукшин, не забывай этого. Поташим, обратим на себя внимание, тебя узнают и начнут приставать с глупыми советами...

— Пожалуй, ты прав, — подумав, огорчается он. — Но мы его вечером, в потемках, обязательно заберем отсюда. Ладно?

— Да зачем он тебе?

— Как зачем? Я в него буду свои собственные книги складывать, да. И не помру, пока под самую крышку не заполню ими этот ларь, — так и знай! А потом это же такая уникальная вещь — лишь в древних сёлах можно встретить. У нас в Сростках, например. Понимаешь? Во-от. Я вставлю в него замок с музыкой, и он станет петь: «Тилинь-тю-линь — привет тебе, Шукшин, из села сибирского, из детства далекого!» Славно будет, правда?

Фантазируя, Василий делается похожим на большого ребёнка, что происходит с ним тоже весьма редко — лишь в минуты особого восторга.

— Ладно, вечером перенесём к тебе эту игрушку, — обещаю я.

— Игрушка... Бесчувственный ты человек, — беззлобно укоряет он. — Это не игрушка, а деревенская реликвия. Особый символ! Пойми, голова!

Тарабарим, а такси все нет и нет.

— Пить хочу, — говорит Василий. — Пойдем по кружке пива дёрнем.

На той стороне улицы, возле свибловского торгового центра, стоит пивная палатка, прозванная в народе «мордобойкой» за то, что возле нее иногда в конце дня разгораются хмельные страсти, начинающиеся с тривиального: «Ты меня уважаешь?» Сейчас у палатки почти безлюдно. Мы переходим улицу и минуты через три уже пьем «жигулёвское» возле узенькой стойки-полочки, прибитой к стене палатки. Василий хмуро и настороженно осматривается вокруг, говоря:

— В подобных местах я почему-то чувствую себя, как на ежовой шкуре.

— Да, местечко то еще, — соглашаюсь я. — Недавно здесь один тип заехал пивной кружкой парню по голове. И знаешь, за что? Всего лишь за то, что парень тот не отдал ему долг — десять копеек. А ведь, главное, тип этот, говорят, совсем трезвый был. Скажи — ну не зверь ли!

— Трезвый? — Василий закуривает и, взвесив что-то в уме, произносит раздумчиво: — Конечно, это натуральное зверство, но опять же как посмотреть. Может быть, этот тип и зверем-то стал как раз оттого, что его вечно обманывали. И быть может, как раз именно на этих-то десяти копейках у него вся вера в честность людскую и держалась. Не вернули их — вот и взорвался, озверел. Иного объяснения я не вижу, если он действительно трезвый был.

— Милиция утверждает: трезвый.

— Н-да... Готовый сюжет для рассказа, — Василий на мгновение уходит взглядом в себя. — А Достоевский — тот бы, пожалуй, и целый роман написал...

Говорим о Достоевском, о карамазовщине, которую Шукшин именует «истинно русской дурью». Рядом становится небритый, красноглазый человек с кружкой пива. Это дядя Толя, по кличке Композитор, прозванный так за то, что как-то с похмелья продал свое пианино, по слухам, за три... рубля. Он инвалид, ходит на протезе. В руках его всегда поблескивает алюминиевая трость, а на голове зеленеет широкополая фетровая шляпа, которая вечно почему-то сваливается.

— Здорово, ребятки, — картавит он. — Думаю, зла вам не причиню, если рядом постою?

— Здравствуйте, дядя Толя. Стойте, пожалуйста, — говорю я и (тут меня словно черт за язык дергает) спрашиваю: — Дядя Толя, это правда, что вы будто за три рубля пианино продали?

— О, египетская сила! — враз взрывается Композитор, и шляпа слетает с его головы. — Ну что за народ! — Он поднимает шляпу. — Ну, что за народ — вечно все переврут, преувеличат! Сколько раз объяснять им, что не за три рубля я продал, а за двадцать пять — да! Ведь дело-то еще до денежной реформы было, что я, дуршлаг — за трёшку продавать! Это же всего лишь тридцать копеек по-теперешнему!

— Значит, в переводе на новые деньги вы продали пианино за два рубля пятьдесят копеек? — едва сдерживая смех, участливо спрашивает Шукшин.

— Разумеется! — с достоинством отвечает Композитор и, взяв свою кружку, с ворчанием переходит на другую сторону палатки. — Ну, народ! Ну, народ-оборот, египетская сила!..

Шукшин, похохатывая, произносит торжественно:

— Видел? А еще говорят, что это я комедиограф. Вот кто истинный сочинитель комедий — жизнь! И мне ли нарочно что-то придумывать! Вынимай авторучку да записывай... Кстати, а кто он, этот чудик?

— Говорят, был капитаном дальнего плавания, да попал в какую-то аварию и лишился ноги. Жена его бросила, он с горя запил, опустился, и вот... сам видишь.

— Ясно, — Василий больше не смеётся. — Хохочем, а, по сути, плакать бы надо. Н-да, еще раз убеждаюсь, что смех чаще всего — это лишь розовая пена на слезах жизни. Грустно, земля!

Возле нас вертится развязный, приبلатненный парень с нахальными пьяными глазами — разглядывает со всех сторон Шукшина. Это один из тех паскудников, у которых вечно чешутся кулаки. Шукшин терпеть таких не может, потому что они ценят в человеке лишь одно — грубую физическую силу. Губошлепы, дебилы, мордovorоты — так называет их Шукшин.

— Слушай, тебя не Генкой Зеленым звать? — шепелявя, осторожно пристает к Василию знакомый незнакомец, у которого, очевидно, внешность артиста Шукшина вызвала в памяти образ какого-то Генки Зеленого.

— Нет, — не глядя на него, бросает Шукшин.

— Интересно, где же я тебя встречал? — шуруется шепелявый. — Ты под Воркутой случайно эта... ну, не того... а?

— Нет! — у Василия по щекам начинают гулять желваки. — Не того!

— Значит, я ошибся... — шепелявый, видимо, ожидавший, что найдёт в Шукшине «родню» по пребыванию в местах не столь отдаленных, сперва как бы разочаровывается, а затем неожиданно наглет. — Слушай, ты... не знаю, как тебя... поставь мне пивка кружечку.

Эта смелая наглость парня легко объяснима: разведав, что Шукшин не из блатных, а меня и вовсе бояться нечего — очкарик, — он хочет взять банальным прищипком — на испуг.

— Ну, чего припух? — Он уже прет на Шукшина грудью. — Жалко, да?

Я срываю с носа очки, готовясь к драке, которая кажется мне неизбежной. Но тут свершается как бы чудо: Шукшин резко отступает на шаг от шепелявого и мигг преображается — сдвигает на брови кепку, выпячивает нижнюю челюсть и, вжав в плечи голову, по-гориллы растопыряет руки. Ни дать, ни взять — рецидивист девяносто шестой пробы!

— Чего-о? — грозно сипит он, медленно надвигаясь на шепелявого. — Пивка тебе? На халяву?! Да я таких, как ты, в лагерях пятнадцать лет из параша поил! Понял?

Шепелявый от неожиданности буквально балдеет. А Шукшин для пущей остратки засовывает руку в карман брюк, будто там у него нож или еще что опасное.

— Вали отсюда! (Шепелявый отпрыгивает.) И чтобы духу твоего здесь не было! Здесь я масть держу! Понял?

— Понял, понял, все ясно, — пятками назад семенит шепелявый, затем поворачивается и ныряет за угол.

— Дебил, в горбину его... — в сердцах сплевывает Шукшин и поправляет кепку на голове. — Поехали отсюда!

— А на чём? — смотрю я на пустую стоянку. — Такси-то все нет и нет.

— Кхэ, подлость: когда чего позарез надо, никогда нет. Айда пока в магазин портфель наполнять, а то он, поди, слипся от вакуума.

Заходим в продовольственный отдел торгового центра, и вскоре портфель становится пузатым от бутылок минеральной воды, «Варны», хлеба, колбасы и другой снеди.

— Теперь бы еще шашлыка взять, — говорит Василий, и мы проходим в кулинарию.

В ней безлюдно. За прилавком, глядя в зеркальце, пудрится молодая толстуха с капризным ртом в фиолетовой помаде.

— Здравствуйте, — говорит ей Василий. — Взвесьте нам, пожалуйста, килограмм шашлыка.

— А чего это вы мне — «здрассте»? — ни с того ни с сего надувается толстуха. — Что я вам — знакомая, или вы на квартиру ко мне пришли — «здрассте»-то говорить?

— По-моему, из вежливости, — отвечает Шукшин.

— «Из вежливости»!.. — Толстуха капризно фыркает. — Я одна, а вас тут тысячи... Если каждому на вашу вежливость отвечать — язык отвалится.

— Да вы что, девонька? — теряется Василий.

— Я не девонька! Девоньки на базаре семечками торгуют, а я продавец! И разговаривайте со мной, как с продавцом!

У Василия на виске вздувается жилка.

— А ну, маня, смой с рук пудру и отвали мне кило шашлыка! — зло требует он, а затем спокойно спрашивает: — Так, что ли, прикажете с вами разговаривать?

— А чего это вы грубите? Чего хамите? — ощеривается толстуха и раздувает ноздри своего точеного носика.

— Я не грублю, а шашлыка прошу.

— Нет шашлыка!

— Да вон же он — на витрине, — говорю я.

— На витрине есть, да не про вашу честь. — Катя-а! — кричит она кому-то в приоткрытую дверь подсобки. — Забери свой шашлык, а то у меня из-за него скандал идет! Да постового Витьку крикни, а то тут двое хулиганов хамят и матеряются.

Василий грохает по прилавку кулаком, и мы оба поспешно уходим.

— Убивают! — визжит толстуха.

— Да-а, такую убьешь... — сквозь зубы цедит Шукшин. — Такая выдра сама кого хочешь убьет своим хамством. Ай, черт! — Василий, морщась от боли, прикладывает руку к левому боку. — По нервам хватило... Ну и поганая же баба!

— Дура она законченная! И что ты все к сердцу-то близко принимаешь, — раздражаюсь я.

— Да как не принимать: подойдешь по-простому — хамят, грубо попросишь — хамят, и на вежливость, сам видишь, как и чем отвечают. Есть такие еще: хоть в аптеке, хоть в столовой, хоть в больнице. Не люди, а какая-то секта хамов. Хуже хулиганов! Тех хоть припугнуть можно. Шарахнуть бы по ним бронебойными!..

И Шукшин исполнит это свое намерение — начнет время от времени шараять по хамству и бездушию своими «бронебойными» рассказами — такими, как «Змеиный яд», а незадолго до смерти подложит под них злую, как мина, «Кляuzu». Но все это будет происходить и произойдет позже. Сейчас же у Шукшина одна цель — вырваться из города.

— Наконец-то! — вскрикиваю я, увидев, что на стоянку въезжает такси. Да не одно, а сразу три! — Бежим!

И вот мы оба плюхаемся на заднее сиденье «Волги». Ее водитель, молоденький живой паренек, отчего-то с интересом разглядывая Шукшина, приветливо спрашивает:

— Куда вас, товарищи?

— Ох, увезите нас в даль светлую! — с серьезным видом умоляет Шукшин, по-детски радуясь, что наконец-то мы поедем. — И поскорее, пожалуйста!

— «Даль светлая» — такого ресторана в Москве пока нет, — смеется паренек.

— А вы что... по ресторанам только возите?

— Не только. Но у вас лично отчего-то такой скорбный вид, что, мне кажется, изменить его можно лишь рюмкой коньяка и шашлыком по-карски.

— Кхэ, шашлык... К дьяволу его, не желаю! Хочу обычной картошки, печеной в костре! Поэтому везите нас в поле, на реку, к чёрту на рога — куда угодно, лишь бы подальше отсюда!

— Клязьминское водохранилище вас устроит?

— Вполне!..

Мы быстро проносимся по улице Снежной, пересекаем железную дорогу и вот уже мчимся по городу Бабушкину, самому, на мой взгляд, тополевому месту столицы. Стремительная езда скоро успокаивает Шукшина, и на его лице появляется тень того особого благодушия, какое может навеять человеку только дорога. Василий умиротворенно смотрит по сторонам и вслух читает названия улиц.

— Радужная! — тихо восхищается он. — А там была Снежная. Очень звучные названия, не чета каким-нибудь Индустриальным, Магистральным и всяким там Парковым. Знать, поэты работают в здешнем райисполкоме. Молодцы! А вон, смотри — Таежная! — Василий живо толкает меня в бок. — Это название тебе ни о чем не говорит?

— Говорит, и о многом, сам прекрасно знаешь.

Почти семнадцать лет моей жизни прошли на улице Таежной, только было это давно и не здесь, а на золотом руднике Балахчин, затерявшемся в голубых кедрках горной Хакасии, соседки раздольного шукшинского Алтая. Василий давно знает об этом: еще учась во ВГИКе, мы обменялись нашими сибирскими адресами. Да и после студенчества мне не раз приходилось рассказывать ему про свою родную улицу, а также о горной тайге, которую Шукшин, кстати, знает плоховато, потому как он сибиряк-степняк.

— Земеля, — Василий вдруг очень заинтересованно поворачивается ко мне лицом. — Послушай, у тебя с топтыгиным-то все ладно получилось, а?

Шукшин имеет в виду медведя, что снимался в фильме «О чем молчала тайга», совсем недавно поставленном режиссером Александром Курочкиным по моему сценарию, в котором есть несколько эпизодов, где действует косолапый «хозяин тайги». Эпизоды же эти появились отчасти благодаря Василию Шукшину.

3

А дело было так. Помнится, года три тому назад брел я вдоль Москвы-реки по набережной с «Мосфильма», где только что закончилось обсуждение очередного (кажется, одиннадцатого!) варианта этого самого сценария. Вариант был «зарублен» чуть не напрочь всеми членами редсовета творческого объединения «Юность». И лишь редактор Людмила Голубкина сказала мне своим тихим и несколько флегматичным голосом успокоительные слова, за которые я останусь ей вечно благодарен:

— Не отчаивайся. Все обойдется, только вставь в новый вариант побольше

чего-нибудь приключенческого из таежной жизни. Покопайся в своей памяти и вставь. Покопайся, прошу тебя.

Я брел по набережной к станции метро «Киевская» и «копался», но ничего «откопать» никак не мог. Потому что больше думал о том, как бы и чего бы сегодня поесть: в кармане лежали всего лишь два пятака — для проезда в метро и на автобусе до поселка Келлер, где я в ту пору жил и работал в деревянной комнатенке с вечно дымящей печкой. Кроме меня на одиннадцати «квадратах» этой комнатенки ютились моя жена и ее сестра Люська с мужем-шофером и грудным ребенком. Печка чадила, ребенок день и ночь плакал, Люська постоянно что-то строчила на швейной машинке и ругалась, а я, сидя за столом напротив нее, яростно писал варианты своего сценария, лелея надежду, что сценарий у меня все же когда-нибудь купят, и мы с женой вступим в какой-нибудь так называемый ЖСК и наконец-то вырвемся из этого капкана. Но сценарий никак не «покупался», провалы следовали один за другим. И после каждого из них в доме непременно совершался отвратительный скандал. Заначала его Люська: заметив мой убитый вид, она становилась в позу «руки в боки» и злорадно-торжествующим голосом принималась за дело:

— Чего — опять кукиш «Мосфильм» тебе показал... Опять к нашей бабке деньги занимать побежишь! Или снова пальто в ломбард отнесешь и всю зиму в плащике шлындать будешь... а еще ВГИК окончил! У меня вон Сашка, муж, без всякого диплома, простым шофером на автобусе крутит, а денег зарабатывает — куда хошь уехать можно! А у тебя их даже на метро другой раз нету...

Выслушав эту «запевку» скандала со стиснутыми зубами, я обычно бросал Люське что-нибудь в таком вот роде:

— Люся, ты пока еще ма-а-аленькая змейка, но ты не отчаивайся: в будущем из тебя выйдет огромная, превосходная... гадюка!

Господи! Что тут началось! Тысячи страниц не хватит, чтобы описать всю свистопляску одного лишь такого «объяснения». А их было уже, кажется, десять — крупных.

«Нынче произойдет очередное», — думал я, безнадежно роюсь в карманах пиджака и брюк в поисках хотя бы обломочка сигареты, чтобы дымом убить во рту медный привкус голода.

«Придется у кого-то стрельнуть», — сказал я себе, озираясь по сторонам.

На берегу Москвы-реки, опершись локтями о гранитный парапет, стоял тощий мужчина с огромным животом — рыбачил, если можно так назвать то, чем он был занят. А занимался он следующим: выдернет из воды рыбешку величиной с мизинец, сорвет ее с крючка, положит на гранит, шмякнет ей по голове кулаком, возьмет за хвостик и швырнет обратно в реку.

— Зачем вы так делаете? — поразился я.

— Из чисто гуманных соображений, — очень сытым голосом отозвался пузач. — Нельзя же отпускать в реку рыбу, пораненную крючком: ей больно.

— Простите, а зачем ее отпускать? И зачем вообще ловить, если рыба вам эта ни к чему?

— Спо-орт, мой мальчик, — еще сытнее промолвил он, вынимая из серебряного портсигара «беломорину». — Спорт у нас не запрещен, а даже наоборот, всячески поощряется.

— Разрешите?.. — невольно вырвалось у меня при виде папирос.

— Закурить? — пузатый «рыболов-спортсмен» оглядел меня с головы до ног,

как какого-то недоумка, и удилischem указал в сторону Киевского вокзала. — Вот там табачный киоск есть, подойдите к нему, заплатите двадцать две копейки, получите пачку «Беломора» и курите себе на здоровье. Желаю удачи!

— Прощайте, товарищ гуманист... — ядовито сказал я и назвал его по фамилии, так как в «гуманисте» этом узнал одного из тех «киношников», что не поставили ни единого путного фильма за всю жизнь, а корчат из себя черт знает кого, особенно на художественных советах...

Я отошел от него, как оплеванный, и побрел дальше по набережной. В тот миг я был обижен на весь свет, жалел себя почти до слез.

В глазах было темно. Я невольно посмотрел на небо, покрытое облаками, и оно показалось мне жутким нагромождением чугунно-чёрных скал, готовых вот-вот рухнуть на мою голову, отчего я даже съёжился.

И в эту секунду у меня за спиной раздался вдруг знакомый голос:

— Земеля... Стой!

На плечо хватко легла увесистая рука, которую я узнал, даже не глянув на нее, потому что это была рука Василия Шукшина. Вихрь самых разных не выразимых словами чувств охватил меня и колючим, удушающим комом застрял в горле.

— Вась!.. — прохрипел я. — Подыхаю...

Шукшин рывком поворотил меня лицом к себе, схватил за грудки и встряхнул:

— Опомнись, в три гроба тебя!..

Опомнился я за столом в ресторане «Днепр», когда выпил «столичной» и что-то съел. Смотрю: напротив сидит Шукшин, подперев ладонью щеку, и смотрит мне в глаза с особым значением:

— Ну, очухался, чудик с улицы Таежной? А теперь рассказывай, что это с тобой на набережной было. Я, понимаешь ли, еду в троллейбусе на «Мосфильм» и вдруг вижу: тащится мой земля — нос ниже пупа и очки на одном ухе болтаются. Пришлось выскочить из троллейбуса и догонять тебя... Так что же это было?

— Вась, ты сейчас уже сам рассказал, что было: нос повесил... очки... — вздохнул я. — Ты лучше спроси, отчего это было.

— Ну? Очередной разгром в «Юности», что ли?

— Да. Одиннадцатый, кажись.

— Кхэ, «кажись»... — Василий досадливо крутнул головой. — Аж со счета, бедняга, сбился. Ничего себе! А знаешь ли ты, что студия не имеет права заставить автора переделывать сценарий более трех раз?

— Как же не знать! И они там, понятное дело, тоже знают. Но они предлагают мне писать эти проклятые варианты как бы в неофициальном порядке. Или, как они выражаются, «в порядке откровенно добрых пожеланий».

— Вот словоблуды! А режиссер у тебя есть?

— Был бы!.. — вздохнул я.

— Ну-у, — Василий безнадежно махнул рукой, — тогда ты будешь «вариантить» до второго пришествия Христа.

— Вообще-то сценарий двум режиссерам нравится, но им не дают постановки.

— Почему?

— Считают, что не потянут ребята. А те режиссеры, которым студия доверяет, от сценария отказываются, потому что не знают моей темы, ведь моя тема — это, как тебе известно, жизнь таежного поселка.

— Н-да... — Василий почесал лоб. — Я за такую тему тоже бы не взялся: далек я от тайги, хотя и сибиряк. Кроме того, у тебя в сценарии главные герои — дети, а

с детьми я как режиссер работать не пробовал, да и не хочу. Потому что в детском кинематографе выразить себя до конца очень трудно, вообще почти невозможно. Это, конечно, моя точка зрения, и дай бог, чтобы я ошибся.

Умолкли. Василий долго глядел на меня, как на больного, и заключил:

— Устал ты, однако, Игнаха... Слышь, а не послать ли тебе к черту этот сценарий? Стоит ли он того? Подумай: может, лучше в штат куда-нибудь устроиться, в какую-нибудь газету, а?

— Нет, — твердо сказал я. — Здесь у меня особая позиция. Я просто не в силах отказаться от сценария, потому как мне чертовски хочется поделиться с людьми через экран той радостью, какую я испытываю от общения с таежной природой и с сибирскими горцами. Ты меня понимаешь?

В ответ Василий приподнялся и через стол крепко пожал мне руку, говоря при этом по-шукшински откровенно, твердо и серьезно:

— Прости за мое предложение. Впрочем, другого ответа я от тебя и не ждал. Я и раньше верил, а теперь окончательно уверовал: сценарий ты пробьешь... Только как бы это дело ускорить? — он обеими руками озадаченно почесал в затылке. — Как?.. Да ты ешь, ешь! — он налил мне еще «столичной». — Расслабь пружины-то, отмякни. А я не буду: у меня сегодня разговор деловой есть. А тебе можно — ты свою смену нынче отработал.

— Ага, и заработал... — горько усмехнулся я. — Сейчас приеду домой — получка будет.

— Ничего, на сытый желудок стерпишь, — зная из прежних моих рассказов, о какой «получке» идет речь, промолвил Василий и, помолчав, спросил: — Тебя с женой в очередь-то на жилье еще не поставили?

— Нет. Жена приводила откуда-то целую комиссию. Комиссия эта осмотрела нашу дымную конуру, понюхала, поохала, посочувствовала, а под конец заявила: «Значит, ваш муж молодой писатель. Работать ему, конечно, здесь трудновато — понимаем. Но помочь, к сожалению, пока ничем не можем. А потом жизненные трудности молодому писателю не повредят: вон Алексей Пешков — под лодкой жил, а стал Максимом Горьким». И с тем сия комиссия удалилась.

— Н-да-а... — крепко переплетя пальцы, Василий отчаянно хрустнул суставами. — Ну, никак до меня не доходит, почему это писатель, художник и вообще творческий человек сперва непременно должен страдать...

Шукшин закурил и, пустив из ноздрей две мощные струи белого дыма, выбил ногтями дробь по столу, молвя на мужицкий манер:

— Да-а, паря, жизнь у нас... Я говорю «у нас», потому что мне, Игнаха, тоже несладко: прописки-то в паспорте нет...

— Знаю. Слава богу, хоть деньги-то есть.

— Есть, да не тем делом их зарабатываю — актерством все занимаюсь, а мне фильмы ставить хочется и писать, писать...

— А как у тебя на студии Горького с постановкой фильма (речь шла о фильме «Живет такой парень») — шелкнуло что или нет?

— Вроде бы — да, ведь мне чуть полегче: я и сценарист, я и режиссёр. Но обольщаться пока рано: кино есть кино. Кстати, давай-ка вернемся опять к твоему «кино». У тебя редактором, ты говорил, Людмила Голубкина — да?

— Она самая.

— Ну и что она тебе сегодня сказала?

— Предложила внести в сценарий побольше таежных приключений, а я, кажись, иссяк в фантазии: ведь одиннадцать вариантов, и все на одну тему — шутка ли!

Шукшин, опершись подбородком на кулаки, глубоко задумался. Потом хохотнул, что-то вспомнив: выпил полфужера боржоми и очень весело попросил:

— Ну-к, расскажи мне, как два чудика с улицы Таежной — Игнаха да Павлуха — медведей по сопкам гоняли. Было такое?

Павлуха — это мой младший брат. Я вспомнил, что он недавно приезжал с Тихого океана, где служит матросом, ко мне в Москву на побывку и здесь быстро нашел общий язык с Шукшиным, так как тот в прошлом тоже служил на флоте. Мастер точить ляды на любую тему, Павлуха, видимо, успел и о нашем таежном детстве наговорить Василию с три короба.

— Так было такое или нет? — повторил Шукшин. — Гоняли?

— Гоняли, и не раз, — сказал я. — Ведь в наших краях медведей что лосей в Подмоскovie. Только зачем ты про это спрашиваешь?

— Вот расскажешь — тогда, может, ответчу.

— Ну ладно, слушай. Был, например, однажды такой случай. Отправились мы с Павлухой по кедровые орехи в Золотые Сны...

— А Золотые Сны — это что такое?

— Да распадок с ручьем, лог.

— А-а, красивое название. Ну, продолжай, да как можно подробнее — ладно?

— Хорошо. И вот добрались мы до самого верховья этих Золотых Снов, а там знакомая охотничья избушка стоит, в которой нам иногда ночевать приходилось. Подходим к ней. Без шума, конечно. В тайге к избушкам вообще всегда приближаешься тихо. Подходим и вдруг чуем: внутри кто-то возится — не то ведро катает, не то печурку мнет. Смекнули мы: медведь! Я из-за угла на дверь глянул, она полураспахнута. А Павлуха сзади шепчет: «Давай захлопнем ее и подопрем бревном!» Глупое дело немудреное: и трех секунд не прошло, как Топтыга взаперти оказался, а мы на бревне повисли, которым дверь подперли.

— Вот охламоны! — вырвалось у Шукшина. — Это, но сколько же лет вам было?

— Мне, кажись, пятнадцать, а Павлухе... На четыре года моложе меня, — припомнил я. — Но слушай дальше. Подперли мы, и... Бог мой, что тут началось! Топтыга взревел, как паровоз, в дверь ударился, да, к счастью нашему, дверь-то из толстых горбылей была — не сломалась. Топтыга снова взревел, в оконце ринулся, да не пролез — узко. И опять рев, удары в стены, избушка ходуном ходит! Потом смотрим — с крыши корье полетело: зверина занят, потолок разбирает. Мы с Павлухой — драпать без оглядки... И уж не знаю, как там дальше было, только часа через три, когда мы вновь подошли к избушке, то увидели ее сдвинутой с места, покосившейся и без потолка.

— А медведь? — уставился на меня Шукшин.

— Удрал.

— Зря. Я бы на его месте обождал вас и побеседовал на тему, как относиться к «братьям нашим меньшим», — с шутливым сожалением произнес Василий и сразу же перешел на серьезный, деловой тон: — Вот что, земля. Если ты хочешь, чтобы сценарий у тебя приняли, то немедленно вводи в следующий вариант нового героя — топтыгина. Бери его за нос, за ухо, за лапу — за что хочешь — и вводи. Зверина этот, судя по твоему и Павлухиным рассказам, тебе знаком преотлично. И вы с ним, с медведем-то, вдвоем можете закрутить сюжет, как в детективе. Голубкина, по-моему, ждет от тебя что-то именно в этом духе. Понимаешь?

— Вась, медведь — это первая зверюга, о которой я подумал, когда еще только собирались сесть за сценарий, — заметил я. — Но мне показалось, что это банальное — медведь.

— Вот чудик! — вскинул брови Василий, и три продольные морщинки прорезали его лоб. — Индия без слона — для меня, например, не Индия. А горная тайга без медведя, да еще в детском приключенческом фильме, — это что хлеб без соли. — Он сделал паузу и как бы обиделся на меня. — Конечно, для вас с Павлухой медведь — это банально, а для тысяч и тысяч других пацанов — как? А?

В ту минуту я даже не подозревал, что этот разговор с Шукшиным сыграет очень большую роль в моей жизни. Поразмыслив над советом Василия, я в скором времени охотно внесу в новый вариант несколько эпизодов с топтыгиным, и сценарий (не без помощи, конечно, редактора Людмилы Голубкиной) начнет постепенно принимать ту форму, в какой потом поступит наконец в режиссерскую разработку, но уже не в объединении «Юность», а на студии имени М. Горького, которая перекупит его у «Мосфильма». Однако повторяю, в ту минуту ничего этого я даже и не подозревал, и ответил Шукшину в его же шутливо-серьезной манере:

— Хорошо. Сегодня же позвоню в Золотые Сны топтыге — пусть приезжает, поможет мне доказать «Мосфильму», что я хороший.

— Действуй! — Шукшин посмотрел на часы и поднялся. — Ну, мне пора. С официантом я расплатился; так что сиди спокойно. Да носа больше не вешай! Понял?

— Спасибо, Вася. Слышь, а ты где сейчас живешь-то?

— Кхэ, если бы я сам знал — где. Но чаще всего все там же — в «общаге» ВГИКа. Конспиративно, конечно. Как подпольщик. Ну, пока!

И он ушел, оставив меня в смятенных чувствах мысленно повторять, как сломанная пластинка, одно и то же: «Живет такой парень — Шукшин... Живет такой парень — Шукшин...»

Через полчаса я тоже покинул «Днепр» и, выйдя на улицу, вдруг обнаружил, что у меня по-прежнему нет курева.

«Суровый и добрый земляк, обед в «Днепре», дельный разговор — уж не горячечным ли бредом все это было?» — невольно подумалось мне.

Однако у входа в метро я вновь вынужден был ощутить, что парень такой — Шукшин — действительно живет: отыскивая в карманах пятак на проезд, я неожиданно нашел в одном из них целых двадцать пять... рублей! Когда и как Василий умудрился вложить их мне — это осталось и останется навсегда его, шукшинской, маленькой тайной.

4

— Так как же у тебя обстоят дела с топтыгиным? — вновь спрашивает Шукшин. — Чего молчишь-то?

— Да «Днепр» вспомнил.

— А! Забудь.

— А с медведем нормально, эпизоды сняли все удачно. И Топтыга передает тебе большое таежное «спасибо» за то, что ты заставил меня вызволить его из берлоги.

— Из этой? — Василий озорно тычет пальцем мне в голову. — Из этой «берлоги» я бы много чего вызволил, кабы хозяин ее позволил.

— Например?

— Например... Да ладно, на натуре потолкуем, — называя природу «по-киношному» «натурой», произносит Василий и надолго умолкает.

Уже далеко позади остался город Бабушкин, и мы мчимся по осеннему Подмоскovie. Василий задумчиво разглядывает пышные наряды желтых кленов и кроваво-красных рябин, стоящих за пестрыми заборами разноцветных дач.

«Для чего он рвется за город? Зачем?» — гадаю я и не нахожу ответа. Да, видимо, Василий и сам точно не знает того, а то бы откровенно сказал мне сразу, еще дома. И все же (я в этом уверен) Шукшин едет неспроста: он дорожит каждым своим часом и ради одного лишь желания «зарезать селедочку» в дальний путь не двинется.

Наш молоденький водитель всю дорогу нет-нет, да и приоткрывается, и бросит пытливый взор на Шукшина — хочет, похоже, спросить его о чем-то, но никак, почувствуется, не решится.

— Это что за «заимка»? — весело нарушает молчание Василий, когда мы въезжаем в большой городок.

— Град Мытищи, — охотно отзывается паренёк.

— Понятно: место, которое вечно ассоциируется с чаепитием, — шутит Василий. — А где бы здесь обычной сырой картошки купить?

— Купим, — заверяет водитель. — Вы пикничок решили устроить, что ли?

— Нет, просто из бутылки истину извлечь.

— Ясно, — шофер останавливает машину на площади с торговыми палатками и выходит из кабины. — Обождите меня, пожалуйста, минутку.

— Ну что... — раскрываю я портфель, намереваясь вынуть бутылку «Варны». — Может, извлечем по полстакана истины-то?

— В такси? Ради шалости, как бывало у нас в студенческие годы? Очень хотелось бы, но прошли те времена, земля. Нельзя мне.

— Почему?

— Да потому же, почему и ларь нельзя перетащить при людях. Таксист, кажется, узнал меня как артиста. Кстати, куда он пошёл?

— Не знаю. Думаешь, что помешает?

— Нет. Просто остерегаюсь лишнего трёпа: выпьем у него на глазах по глотку, а он потом наговорит по Москве на целую цистерну. Ни к чему это — создавать дурную славу об артистах, подводить своих коллег. Ведь обывателям только дай повод — вмиг «обобщат» и привяжут пуп к бороде, что-де наш брат, артисты, такие-рассякие. Понимаешь?

Василий выпивает редко — лишь в часы, когда у него что-нибудь донельзя не клеится в творчестве, особенно в литературном деле. Это называется у него «расслабить пружины». Погуляв, он наутро становится тих, предельно застенчив, от всех прячется: стыдно, хотя предосудительного ровным счетом ничего накануне и не совершил. Затем он яростно, с остервенением вновь наваливается на работу, и тогда его опять можно видеть хмельным, с воспаленными глазами, но уже не от вина, а от сладкой трудовой усталости, от катания своей тяжелой писательской тачки, к которой он добровольно приковал себя навсегда.

— Посмотри на забулдыг, — предлагает Шукшин, глядя в приоткрытое окно. — Вон на тех двоих. Видишь?

Возле ближней торговой палатки, ничуть не таясь, пьют прямо из бутылки вермут двое мужчин, один из которых держит в руке слесарную сумку и шланг для прочистки канализационных труб. Мимо, не обращая на пьющих никакого внимания, снуют прохожие.

— Вижу, — говорю я. — Слесари гуляют, и это будто никого не касается — всё как быть следует.

— Вот, вот! А если бы на их месте сейчас стояли, к примеру, Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук, что получилось бы?

Вообразив, как два интеллигентных маститых артиста «глушат из горла» вино на улице, да еще принародно, я хохочу.

— Тебе смешно, — говорит Василий, — а Тихонову с Бондарчуком не до смеха бы стало, допусти они такое. Их бы вмиг окружила толпа прохожих, возмутились бы: «Ишь чего делают, а еще артисты... В милицию их!» А эти двое забулдыг в первую очередь проявили бы инициативу — из особого злорадства. «Ха-ха, — сказали бы они. — Оказывается, артисты такие же, как мы. Давай, Хведор, их в нашу компанию!». И прилипли бы к ним, как репё. Потому что артист, по их странному представлению, ни в коем разе не имеет права позволить того, что они себе позволяют. А если вдруг позволит, то они не простят ему этого — всю свою прежнюю любовь и глупую зависть к артисту в злость обратят. За примером далеко ходить не надо: вон Петр Мартынович Алейников снизошел до их уровня, так они его, безотказно доброго и слабовольного, в вине за это утопили: «Пей, Мартыныч! Пей, Ваня Курский!». И все это делалось под видом любви к нему. Правда, Петр Мартынович тут отчасти и сам был виноват. Но да ладно — не нам судить этого великолепного актера.

— Кстати, о Петре Мартыновиче, — говорю я. — Кроме того, что он был прекрасным актером, я знал его как замечательного мастера устного рассказа. И крепко жалею, что не смог принять однажды его очень интересного, дельного предложения.

— Какого же?

— Да звал он меня как-то раз поехать к нему на родину, кажется, в Белоруссию. Там у него где-то в деревне дядя живет. Работает этот дядя лесником, а звать его, к слову сказать, как и меня. «Давай, — предложил мне Петр Мартынович, — укатим к твоему тёзке, спрячемся от всех и вся в его лесной избушке и поживём лето. Я примусь молоко с медом пить, здоровье поправлять, и стану тебе исключительные случаи из своей жизни рассказывать, а ты не спеша их будешь записывать. За лето, глядишь, книжку веселых новелл смастерим. А они, ей-богу, будут веселые. Вот послушай...» И Петр Мартынович, помнится, поведал мне тут «для заправки» без передыха сразу добрый десяток удивительно занятных эпизодов из своей биографии, да с таким искрометным юмором, что я, по-моему, отродясь смешней и остроумней ни от кого ничего не слыхивал.

— Представляю, — улыбается Василий. — А книжку можно было бы прямо так и назвать — «Новеллы Петра Алейникова». И она бы имела большущий успех — я уверен в этом. Ну и почему же ты не поехал?

— Да у меня в то лето денег не оказалось на такую поездку, а сесть на иждивение к Петру Мартыновичу гордость не позволила.

— Гордость... Проклятие! — Василий от досады звонко хлопает ладонью по спинке переднего сиденья. — Сколько, поди, удовольствия могли дать людям эти новеллы!

— Могли бы, тут сомнений нет. Их читали бы, как сказки барона Мюнхгаузена.

— Ну и плюнул бы ты на эту свою гордость, коли так. «Присяжные» — я имею в виду читателей — потом тысячу раз бы тебя оправдали за подобное иждивенчество.

— Ты прав, Василий. Но я тебе не сказал основного: у Петра Мартыновича тоже в ту пору не было достаточно денег, и приглашал он меня главным образом на «пансион» своего дяди — лесника Игната. Разумеешь?

— А-а... — понимающе кивает Шукшин, и горячность его сразу же проходит; лицо становится уныло-постным. — Все ясно... И еще ясно, что не мужики вы оба. Потому как у мужика на самый крайний случай всегда есть заначка. Имей вы ее в тот раз — сегодня у народа были бы «Новеллы Петра Алейникова». Ведь так?

— Были бы, кабы не «бы»! — зло говорю я.

— Не сердись. Это я в шутку, про заначку-то: откуда людям свободной профессии иметь ее? Впрочем, Алейников мог бы и иметь, кабы не перестал сниматься в фильмах из-за этого проклятого «но» по имени вино. Однако то артист, причем известный. Я же сейчас о других толкую, в частности о молодых писателях. Уж им-то не до заначки, а хоть бы крохотный окладашко получать, чтобы их литературные головы были заняты делом, полезным отечеству, а не мыслишками о том, где бы перехватить рубль займа до гонорара, который еще то ли будет, то ли нет.

— Сие, Василий, от нас не зависит, — говорю я и невольно вскрикиваю: — Глянь — что это?!

К нам спешит наш водитель, прижимая к груди большой бумажный сверток, из которого торчат стрелки зеленого лука. Следом за ним шествуют трое таксистов, устремив взоры на нашу «Волгу».

— Это вам, товарищи, — забравшись в кабину, весело вручает шофёр Василию сверток. — Картошка, помидоры и лук. Ешьте на здоровье!

— Вот спасибо-то, как раз кстати, — молвит Шукшин. — Только зачем вы себя утруждали, ведь мы и сами могли бы сбежать — не без ног.

— Ничего, я помоложе. А потом у меня правило — исполнять желание своих пассажиров, даже если они и не просят. Ведь вы же хотели картошки, не так ли?

— Ну, спасибо еще раз, — Василий с улыбкой кладет сверток возле ног и бросает взгляд на таксистов; те, не дойдя метров шести до нашей «Волги», остановились и с нескрываемым любопытством разглядывают Шукшина. — А это что за Коллектив Иванович собрался?

Паренек наш, занятый поправкой разноцветной проволочной обмотки на банке, не слышит вопроса, или делает вид, что не слышит. А в приоткрытое окно «Волги» с улицы доносятся приглушённые голоса таксистов. Василий и я невольно наостраем уши. Между таксистами идет негромкий, но горячий спор о том, Шукшин перед ними или не Шукшин.

— Да он это! — утверждает один. — Мне его лицо хорошо по «Двум Федорам» запомнилось.

— А мне по «Золотому эшелону», — говорит другой.

— Да ну! — возражает третий. — Двойник это. Будет вам Шукшин картошку есть: артист же!

— А что — артисты, по-твоему, исключительно ананасы едят, что ли? Скажешь ты тоже, Свиркин... — смеется первый.

— Да чего попусту гадать. Лучше давай спросим его, кто он, — принимает решение второй. — Не пошлет же, поди, к чёрту?

И вот уже он, склоняясь перед окном «Волги», обращается к Василию:

— Извините, вы... артист Шукшин, да?

— Нет, нет, вы ошиблись. Какой я артист! Артисты — они где? Они — там... — Василий большим пальцем многозначительно указывает вверх, пытаясь отшутиться. — Та-ма!

— Шукшин, ребята! — торжествует таксист. — И голос и движения его!

— Ну, хорошо, — сдается Василий. — Шукшин я, а в чем дело? Что надо?

Таксисты растерянно молчат, видимо, совершенно не зная, о чем говорить. Наконец тот из них, кого называли Свиркиным, спрашивает:

— Товарищ Шукшин, вот мне интересно, сколько вы как артист зарабатываете, а?

Василия буквально коробит, когда к нему пристают из одного лишь праздного любопытства, разжигаемого мелкими страстишками обывателя, жаждущего пронюхать что-нибудь из личной жизни артиста, чтобы потом потрепаться за кружкой пива или под грохот костяшек домино.

— Миллионы! — с вызовом бросает Шукшин Свиркину и просит нашего водителя: — Поехали, да побыстрей!

Пока паренек жмет на стартер, мы с Василием слышим ропот таксистов.

— Видели — он с нашим братом даже разговаривать не хочет.

— Еще бы — лауреат!..

— А ведь был, газеты пишут, работягой, как мы. Зазнался, пим сибирский...

Едем. Шукшин сердит и оскорбленно мрачен.

— Слушай, паренек, — вдруг говорит Василий водителю. — Ты за что же это мне под самый дых-то? Ведь я тебя, кажется, не просил встречу с подобными зрителями устраивать.

— Да я вовсе не хотел этого, Василий, как вас по отцу-то?

— Макарович.

— Не хотел я, Василий Макарович. Это малый один из нашего таксопарка увидел, что я картошку покупаю, и подошел ко мне. Ну, разговорились — куда еду, кого везу. Я сказал, что вроде Василия Шукшина. А он побежал на стоянку такси, растрепался там, и они гурьбой увязались за мной поглядеть на вас.

— А я что... снежный человек — разглядывать-то меня? Кхэ... — Василий сокрушенно мотает головой. — «Зазнался», да еще «пим сибирский»... а сами не знают даже, чего им и надо от меня. Ну, подошли бы по-человечески, о деле бы каком, о кино, о трюковых съемках, что ли, спросили — разве бы я не ответил?! Да если уж на то пошло, я сам первым люблю завести толковище, но только о деле. А то: здрасьте — сколько получаешь? Идиоты, дегтем бы их обдать!

В такси воцаряется молчание. Шукшин сидит в хмурости, водитель ерзает на сиденье, явно сожалея о случившемся. А я невольно вспоминаю один поздний субботний вечер, а точнее — ночь, когда Василий Шукшин, благоухая цветами и слегка коньяком, ввалился ко мне с огромной охапкой красных и белых роз и заговорил счастливо и оттого донельзя смущенно и отрывисто:

— Земеля! Я это... перед зрителями нынче выступал, вот. Нравится им Пашка-то мой. Шоферам нравится и другим рабочим — ага. И даже этим... как их? Эстетам, черт их целуй, тоже нравится, хотя они и косорылятся: грубо-де — ага. А народ вот цветов надарил, только куда мне их теперь, а?.. — Он подумал, подумал и вдруг встрепенулся. — Вот что, давай отправим розы на Алтай! И знаешь кому? Пашкам Колокольниковым на Чуйский тракт, их там много у меня — Пашек-то. Давай, а?

— Но как же мы их отправим?

— С оказией! Самолетом!

Когда у Шукшина в душе загорится, ничем не погасишь. И мы очутились в аэропорту Домодедово. Но Василию не повезло: «оказия», то есть пассажиры, улетающие в Барнаул, уже все ушли на посадку в самолет. Мы опоздали на ка-

ких-нибудь пять минут. Василий чертыхнулся и, почесывая в затылке, сдвинул кепку на брови:

— Что же делать? Ну, подскажи!

— Вася, а не мальчишество ли все это, чем мы сейчас заняты?

— Мальчишество. Допустим! Ну и что? — он свысока оглядел меня, будто петух мышонка, и клянул: — У меня сегодня особый порыв, а ты не ценишь. Потому как ты старше меня на целых пять лет!

— По-моему, это ты на столько старше-то.

— Годами — я, да. А душой — ты! Но я твою душу омоложу... — сказал он с притворной угрозой. — А то чувство романтики утратил и спишь на ходу...

Потом Василий надолго ушел в себя и вдруг произнес огорченно:

— Н-да, парадокс!

— Ты о чем? — не понял я.

— Отчего-то подумал вдруг о Грине. Говорят, этого мрачного вятича в детстве дразнили «Грин-блин»... Жил и умер в лютой нужде, а ведь был самым богатым человеком в мире. Имел в собственности не корову, не пароход, не золотой прииск и даже не алмазный дворец, а целую персональную страну — Грину!

— Вася, а ты займись Шукшину, — в шутку предложил я.

— Такая страна у меня уже есть, — сказал он серьезно. — Правда, она еще малолюдная. Но клянусь — я заселю ее! В ней будут жить оригиналы, личности особого склада, но не такие, как у Грина, а глубоко земные, «от сохи», как любят выражаться эти... как их? Снобы, черт их целуй!.. Но пусть они выражаются, как им хочется! Я же знаю одно: читатель и зритель ждут не дождутся подобных — сугубо земных героев, потому что истосковались по поэзии интимных будней, по поэзии обыденных радостей и горестей, по поэзии той повседневной правды, которой живут мои герои, то есть истосковались сами по себе, так как мои герои — это те же самые читатель и зритель. И я поставлю им зеркалом свои книги и фильмы: радуйтесь, смейтесь, плачьте, люди, глядя на себя, и думайте, думайте, думайте, какие вы есть!

— Это твое как бы творческое кредо — понимаю, — заговорил я. — Но вот ты, Василий, сам — любишь ли ты Грина?

— Грина? Кто его не любит! Пожалуй, все любят, в том числе, наверно, и я, да... И все же мне, как человеку, ближе романтика Джека Лондона. Потому что Лондон... как тебе сказать?.. Более конкретен, что ли... Да, конкретен! Возьми хотя бы его Мартина Идена — этот великий упрямец аж физически заражает человека своим живым примером — как и каким образом надо идти к заветной цели. А Грин — это все-таки прекрасный рыцарь абстрактной мечты. Мечтайте, люди, верьте в счастье — и оно само приплывет к вам на алых парусах! — обещает Грин. Черта с два оно приплывет, если ты не будешь за него бороться одержимо, как герои Джека Лондона. Но сегодня, именно в этот ночной час, я почему-то отдаю предпочтение Грину, его мягкой колдовской романтике, зовущей совершить что-то необыкновенное и обязательно доброе. Но что я могу совершить в данный миг? Единственное — подарить вот эти розы. А кому?

...Вся наша беседа происходила на лавке, озаренной светом, шедшим из стеклянного здания аэропорта. Разговаривая, Василий поминутно то вставал, то опять садился.

— А вот кому я их подарю! Братьям Пашки Колокольниковы! — вдруг шепотом вскричал он и поднялся с лавки, явно что-то замыслив.

— Земеля, только чур, не бросай меня!

«Что же — колобродить так колобродить!» — сказал я себе мысленно и с радостью отдался веселой власти Шукшина.

Мы пересекли аэропортовскую площадь и оказались на стоянке такси, где зеленело с десятков огоньков.

— Вот так букет!..

Дивясь на розы, нас начали окружать водители. И тут Василия окончательно обуял его «особый порыв». Он поднял цветы высоко над головой и обратился к таксистам озорно и просто, словно к старым знакомым:

— Здорово, мужики! Вы Пашку Колокольникова знаете? Про него еще фильм снят «Живет такой парень» — смотрели?

— Это который «пи-пирамидон», что ли? — заикаясь, спросил кто-то голосом куравлевского Пашки, и несколько водителей сразу же засмеялись.

— Значит, знаете. Тогда братский привет вам от него с Чуйского тракта, а также подарок. Держите! — и Василий всучил охапку роз таксисту, стоявшему к нему ближе других.

— Да это же Шукшин, ребята!

Василия взяли в полукольцо и устались на него с тем особым интересом, с каким провинциалы разглядывают подлинники хорошо знакомых им портретов, впервые придя в Третьяковку. Шукшин в свою очередь изучающе прошелся проницательным взглядом по их лицам, что-то оценил в уме, загадочно улыбнулся и, постукивая кулачищем себя по груди, заговорил интригуяюще-доверительно:

— Я пришел дать вам волю. Волю высказать мне в лицо правду о моей картине. Высказать не официально, как в конференц-зале, а как говорят шоферы или матросы друг другу в беседах при ясной луне, то есть без стеснения, — не покраснею, потому как привычный — сам шофёрил и матросил. Словом, говорите, как хотите, но только честно, откровенно и прямо, как гвоздь, — одним ударом. Согласны, ребята?

Шоферы молчали. Кто-то глухо покашливал, кто-то закуривал, кто-то тихонько хохотнул, опять повторив по-куравлевски: «Пи-пирамидон». Затем все разом сильно оживились, заговорили между собой, и кто-то бросил Шукшину с непонятной обидой:

— Хреново...

— Что — хреново? — насторожился Василий.

— Да то, что таких картин, как ваша, мало ставится.

— Уж что верно, то верно — мало, — подхватил другой. — Вообще-то картин на рабочую тему полно, да они за сердце почти не трогают, потому что нутра рабочего человека не раскрывают, души его, мыслей. Герои больше всё о производственном плане толкуют, будто они не люди, а какие-то неземные роботы.

— А что, и про план нужно говорить в кино. Потому как план — это часть нашей жизни, не отбросишь. Только вот говорить надо интересно, живо, чтоб аж дух захватывало, а не по-газетному, — включился третий, чем-то очень похожий на Василия Теркина, и обратился: — Товарищ Шукшин...

— Ребята, не надо официальности, просил же, — морщась, перебил «Теркина» Шукшин. — У меня ведь имя есть — Василий. И даже отчество — Макарович. Да.

— Хорошо, Василий Макарович, — учел просьбу «Теркин», — раз тут о плане речь зашла, то разрешите рассказать вам веселый сюжетец, как в нашем таксопарке один чудака пятилетку за три года выполнил. Может, вам где сгодится.

— Слушаю, — Василий закурил. — И как же?

— А так. Смотрим: ездит, ездит и каждую смену план все перевыполняет, перевыполняет, ребят аж завидки берут. И выполнил — ровно на пару лет раньше срока! Многотиражка его хвалит, стенгазета тоже, он цветет, выпендривается перед всеми, гоголь гоголем! Да... а потом, глядим, жена его к директору парка заявляется и говорит: «Когда моему мужу орден дадите?» — «Какой орден? За что?». Она: «За досрочное выполнение пятилетки». Директор отвечает: «Ваш муж передовик — признаем, понимаем, но ордена он пока еще не заслужил». А она: «Как не заслужил? Разве одного «Урала» недостаточно, чтобы орден дали?» Директор глазами хлоп-хлоп: «Какого «Урала?»» А та: «Обыкновенного — мотоцикла, который он продал, а деньги вносил в кассу парка как от перевыполнения плана». Директор наш: «Фью-ю!» — свистнул аж. А она в амбицию: «Чего “фью-ю”? Мой муж не пройдоха! Он почти каждую смену план перевыполнял, а когда не перевыполнял или недовыполнял, то вносил мотоциклетные, то есть свои. За честь вашего парка боролся. Разве все это не достойно награды?» Директор ей: «Хорошо, разберемся». А она: «Только побыстрее, пожалуйста». И пошла, вся разодетая... как светофор.

— А зачем ему орден так шибко понадобился? — спросил Шукшин.

— Не ему, а больше ей — хвалиться, что муж ее не только не пьет, не курит, но еще и орденоседец, знатный человек — идеальный, словом.

— Ну и чем же наградили этого «идеала»?

— Пинком под зад из парка. Хорош сюжетец?

Водители хохотали, Василий тоже.

Хмурый в институте, молчаливый на киностудии, мрачный и скованный в Доме кино, Шукшин среди простого рабочего люда почти всегда резко преобразился — удивительно веселел лицом и добрел сердцем, словно попадал в гости к нежным родичам и дорогим землякам. Он широко распахивал душу, и люди сразу чувствовали это и становились с ним взаимно приветливыми и откровенными. Быстро расположить к себе людей — умение редкое, но разноталантливый Шукшин обладал и этим даром. В такие минуты я невольно сравнивал его с Петром Мартыновичем Алейниковым — тот тоже был мастер располагать людей, однако говорить, вести «толковище», приходилось в основном ему одному.

У Шукшина же было все наоборот: познакомившись с Василием, люди тянулись к нему, как правило, не столько его послушать, сколько выговориться самим, излить ему свою душу. Они как бы забывали, что перед ними артист, писатель и режиссер, и разговаривали с ним просто и доверительно, как с очень умным товарищем из их круга. Возможно, это происходило еще и оттого, что и сам Василий, когда «толковище» велось по душам, забывал, что он Василий Шукшин, и целиком растворялся в той массе, с какой разговаривал, но в то же время фамильярничать и панибратствовать с собой никому из собеседников не позволял, был независим и внутренне строг — словом, был «самостоятельный», как говорят в русском народе, желая выразить наивысшее уважение к человеку. Я долго старался уразуметь механику его скорого и умелого растворения в людях. А ее, оказывается, в общем-то и не было: Шукшин входил в народ, как в свою семью, как в свой родной дом, где ему не только все знакомо и понятно, но главное — интересно и жизненно важно. Самое живое и искреннее участие в том, о чем рассказывали ему люди, глубокое сопереживание, разговор сердцем — вот что растворяло Шукшина в народе. Я понял это неожиданно как раз в ту памятную домодедовскую ночь, когда Василий беседовал с таксистами.

Посмеявшись над незадачливым «передовиком», Шукшин поинтересовался:

— А как его турнули? Общим собранием, конечно?

— Нет, триумvirатом — директор, парторг, профорг, — ответил все тот же «Теркин».

— А вы где были? — вдруг зажегся Шукшин. — Ведь это же исключительный случай! Надо было всем парком потолковать с этим «идеалом», бабу его пригласить. Может, они бы поняли, что к чему в жизни.

— Была такая мысль, Василий Макарович. Да «триумvirат» наш конфуз свой показать испугался: ведь раньше они все трое этого «передовика» в пример нам ставили, а тут... а тут тихонько пригласили его к себе и сказали: «Мотай по собственному желанию, прохиндей ты такой-сякой и бабье мочало!» Вот и все.

— Кхэ! — Василий кулачищем долбанул по капоту ближней «Волги» и тотчас спохватился: — Ох, виноват! Краска не отлетела?.. Нет. Извините, сгоряча вышло. От досады на начальство, что лишило людей удовольствия обсудить сообща такой блестящий пример несусветной человеческой глупости... Н-да, братцы, это уже не сюжетец, а целый серьезный сюжет.

Таксисты загалдели, каждый почему-то сочтя должным пороптать на начальство своего парка. Кому-то директор обещал машину новую, да не дал; другого незаконно, по его мнению, лишили премии; третьему отпуск передвинули на зиму... Роптали все, и все просили Шукшина «пропесочить посмешнее» их начальников «в кино с экрана».

— Зажимает дирекция наши права, — промолвил кто-то. — Да мы их толком и не знаем.

— Будет вам прибедраться-то. Уж кто-кто, а вы-то свои права знаете, как боги, и любого начальника за горло возьмете, если он их у вас хоть чуть-чуть зажмет. Разве не так? Так. А потому не прикидывайтесь передо мной ягнятками и не изображайте начальство серым волком, — отчихвостил Шукшин таксистов, но таким тоном, что те не только не обиделись, а даже, наоборот, прониклись к нему еще большим уважением — поняли: этот человек их рода-племени, видит все насквозь, и оттого сгущать краски и вообще пороть чепуху им не следует.

А Шукшин, обращаясь к «Теркину», опять заговорил об «идеале»:

— Каков, а!.. Жаль, очень жаль, что ваш «триумvirат» струсил, замял такое уникальное дело.

— Разве это дело?! — воскликнул другой таксист, толстенький и добродушный. — Вот у нас в парке от одного дубоватого праведника — тоже не пил, не курил — жена удрала с лейтенантом — это дело. Дубоватый так на неё осерчал, что даже в партком побежал возмущаться, а потом в газету клязду настрочил, где выразил такую мысль: «Если наши жёны — вот так, по-дворянски, с офицерами станут разрушать наши советские семьи, то никакого общества у нас не будет». Все это я своими глазами читал.

— Во дает! Вот уж действительно дуб! — смеялись таксисты над «праведником». — Ну и дурак!

— Нет, он не дурак, а натуральный воинствующий мещанин и эгоист, а главное — демагог, только малограмотный, — заметил Василий и мельком бросил мне: — Отличный рассказик!

— Демагог — это точно, — охотно подтвердил толстячок. — На собраниях все о благе народном гундосит, а присмотришься — лишь о себе думает. Кстати, Василий Макарович, а в кино такие есть?

— Встречаются, люди же везде одинаковые. Только в кино демагог масштабом покрупнее вашего, потому как грамотный. И вреда может принести побольше.

— Так еще бы: фильм-то смотрят миллионы! — понимающе молвил толстячок и крутнул головой, сокрушаясь: — Рождаст же природа уродов! Кстати, а вот еще один случай...

Над аэропортом стоял туман, самолеты не летали, таксистам везти было неко-го, и оттого «сюжетцы» и «случай» лились рекой. Слушая их, Василий то смеялся, то негодовал, то затевал спор и огорчался, если проспоривал, но чаще торжествовал, выходя из спора победителем. В этот час он полностью был во власти таксистской жизни, горел страстями водителей, дышал их шоферской атмосферой. И мне порой начинало почти всерьез казаться, что Шукшин вовсе не кинематографист и литератор, а бывалый, заправский таксист.

Впрочем, если бы Василий беседовал в тот момент с летчиками или с дворниками, он точно так же выглядел бы летчиком или дворником: диапазон подобных перевоплощений у него был необычайно широк. Однажды, например, в Крыму, когда Шукшин вел «толковище» с колхозными рыбаками из поселка Судак, мне вдруг почудилось, что он самый что ни на есть настоящий «пахарь моря»: до того органично и глубоко сумел он вписаться тогда в рыбацкую среду.

«Как ему удастся такое — быть своим среди людей самых разных профессий?» — гадал я и долгое время объяснял это его актерским мастерством.

Но домодедовское «толковище» — скажу об этом еще раз — дало мне понять иное...

— Кхэ! Значит, ты его, бюрократа пьяного, к жене привез, жизнь ему спас, рискуя собой, а он к тебе же еще и с претензией... Это надо же — какой гад! Да я бы ему ключом по ребрам! — зло возмущался Василий, выслушав очередную таксистскую историю.

У него яростно гуляли по щекам желваки и глаза блестели, как у больного при жаре. Я смотрел, смотрел на него, и вдруг меня осенило: «Так вот почему Шукшин свой среди них: он не в силах оставаться равнодушным к их делам и заботам! Их боль — его боль! Их радость — его радость! Жизнь этих людей — его жизнь!.. И актерское мастерство здесь абсолютно ни при чем!..»

И еще я заметил той ночью, что Василий обладает какой-то удивительной, прямо-таки чуть ли не гипнотической силой одергивать и остепенять людей. Когда таксисты, обсуждая один острый случай, дошли вдруг до взаимных оскорблений, Шукшин негромко и сдержанно, но очень властно осадил их:

— Мужики! Перестаньте лаяться! С этого же драки начинаются, в три короба вас!..

— И то верно, — сказал кто-то. — Хватит базарить!

— У вас что — головы опустели? Если так, то лайтеесь и деритеесь: пустые головы не жалко!

Таксисты быстро охладили свой пыл, опомнились и утихомирились, будто Шукшин окатил их водой. В общем-то он ничего особенного им не сказал, но зато его тон был таким предупреждающе-грозным, как если бы он крикнул: «Осторожно, ребята: мины!».

Я глядел на Василия и, сам не знаю почему, думал, что в пору боярства на Руси этот человек вполне мог бы быть мужицким атаманом: умен, крепок волей и властен силой духа. И еще я подумал, что роль Степана Разина в кино никто, пожалуй, лучше, чем он, не сыграет.

— Так, мужики, — спохватился под конец Василий. — Розы поделить! Да!.. А про картину-то мою вы мне так ничего конкретного и не сказали.

— Да что говорить — задушевная картина. Про нас и без прикрас — вот что замечательно в ней, — сказал «Теркин» и спросил: — А чем нынче занят Леонид Куравлев?

— Снимаю его в новом фильме, который будет тоже «про нас и без прикрас», про ваших братьев, хотя уже и не про шофёров.

— Лишь бы все по правде было, а шофёр там, профессор какой или печник — это не важно, — заметил кто-то. — Будет так?

— Стараемся.

— А смешного много будет?

— Вот это вы мне сами потом скажете, — ответил без улыбки Шукшин и стал прощаться. — Ну все, ребята. До свидания. Спасибо за разговор. Кто нас отвезет в Москву?..

Спустя часа два мы оказались в Свиблове. Распровавшись с «Теркиным» — а отвез нас именно он, — Шукшин так высказался о встрече с таксистами:

— «Толковище» было что надо! Интересные мужики попали нам, башковитые, мыслят масштабно. И не бездари — мужик-то, что на Васю Теркина похож, — прирожденный рассказчик! И другие умеют, ты это заметил? Во-от, то-то!.. Народ!.. — он со значением потряс указательным пальцем. — Зарядился я от них — надолго хватит!.. Слышь, а кто рассказ под названием «Идеал» напишет — ты или я?

— Я не буду: тайги в сюжете нет.

— И я не стану: села нет в сюжете.

На этом и закончилась тогда полуночная одиссея Василия Шукшина, ярого поклонника Джека Лондона и открывателя своей собственной литературной страны — Шукшинии...

5

Часа три пополудни. Сидим на обрывистом берегу Клязьминского водохранилища у костра. Печем на углях картошку, которую наш молоденький водитель вручил Шукшину почти насильно. Насильно потому, что Василий, обозленный на беспардонность трех таксистов, заодно разобиделся и на нашего паренька, да так крепко, что поначалу, когда мы приехали к воде, даже отказался принять от него пакет с овощами. Паренёк взмолился:

— Они нахамили, а я-то при чем здесь, а? Меня-то за что вы невзлюбили? А, Василий Макарович?

— Под горячую руку попал, — сказал Шукшин и смилоствовался: — Ну ладно уж, давайте.

Он взял пакет и протянул пареньку два рубля.

— Не надо, не надо! — запротестовал тот. — Я вам от души, а вы деньги... Лучше помогите мне один вопрос решить. Я всю дорогу хотел к вам обратиться, да стеснялся. Можно?

— Ну говорите, слушаю.

— Дело такое, значит. Старший брат у меня есть. Воровал когда-то, отсидел шесть лет за коллективный грабеж. Нынче на свободе, работает сантехником. Женится, ребенка заимел. С прошлым порвал окончательно, или «завязал», как у них

там выражаются. Однако брат считает, что лучше бы уж не «завязывал», потому как дружки его давние теперь грозят по телефону: «Развязывай, фраер! Ты вор и должен делать свое дело, иначе пришьем!» Звонят обычно по ночам или рано утром по праздникам. Брат после их звонков сам не свой становится — весь в себя уходит, молчит или, наоборот, буянит, водку глушит и с женой ссорится. Василий Макарович, вы человек, по всему виду, самостоятельный, с опытом жизненным, — посоветуйте, как быть моему брату. Ведь убьют же!

— Кхэ, вот губошлепы, табуном бы коней их топтать! — Василий в негодовании потряс сжатым до белизны кулачищем, а потом сказал мне с отчаянием: — Знаешь, вот уже, поди, десятый раз люди просят у меня совета, как выкарабкаться человеку из подобной ситуации, а я бессилён изречь что-либо путное. Потому как та мораль, какой живут нормальные люди, для уголовников, подонков общества — это пустые звуки. Они уважают и почитают лишь одно... — Василий показал свой кулачище. — Вот это — грубую материальную силу. Волку (а подонки подобны ему) ведь не скажешь: «Серый, не ешь человека!» — потому что он не понимает человеческого языка. С волками жить — по-волчьи выть...

— Но мой брат не хочет больше с ними ни жить, ни выть, — промолвил паренек. — Но и отделаться от них не может: обложили, сволочи. Где выход?

— А в милицию он обращался? — спросил Василий.

— Хотел, да побоялся; его дружки бывшие предупредили по телефону: «Не вздумай в отделение побежать — мы следим за каждым твоим шагом и ухлопаем тебя раньше, чем ты окажешься в милиции».

— Вот оно что, ясно... Слушайте: ваш брат обязательно и немедленно напишет на Петровку, 38, в МУР и укажет в письме имена тех, кто ему угрожает.

— Мы с братом думали уже об этом, да беда — брат не знает всех имен. МУР, положим, задержит тех, на кого он укажет, а кто-то из оставшихся на свободе всадит ему нож в спину.

— Ничего, МУР есть МУР: они найдут способ, как человека защитить. Не думайте, что там люди деньги зря получают, муровцы умеют повязывать подонков. И вообще, милиции надо верить. Поняли? А потом сообщить МУРу — это в конце концов гражданский долг вашего брата, да и ваш тоже. Долг оградить общество от шайки негодяев. Ясно?

— Хорошо, скажу брату, — подумав, вымолвил паренек. — Нет, не скажу, а заставлю написать. А вам спасибо за совет. Большое спасибо, Василий Макарович. До свидания!

И паренек уехал. Василий проводил взглядом его «Волгу» и уже в который раз вновь надолго ушел взглядом в себя.

— Н-да, дела... — спустя некоторое время произнес он. — Когда-нибудь я возьму и напишу книгу или поставлю фильм о бывшем воре, который осознал свои ошибки, раскаялся в преступлениях и жаждет вести нормальный образ жизни, а подонки мстят ему за это и в конце концов убивают...

Ах, как разобидятся на Василия Шукшина многие воры, когда он исполнит эту мечту — выпустит в свет свою «Калину красную»! В его адрес посыплются сотни злопыхательских писем, и один вор, называя себя с большой буквы — Вором, будет уверять создателя кинотрагедии от имени всех воров, что они-де совсем не такие, они-де милостивее экранного Губошлепа, убившего Егора Прокудина, потому что они-де воры порядочные и... честные! У них-де есть железный закон: хочет вор «завязать» — пусть «завязывает», они ему «разрешают» не воровать и

«позволяют» стать «честным фрэером». Шукшина взбесит этот факт разделения ворьем самих себя на честных и нечестных, и он ответит им через газету «Правда» примерно так: на свете нет двух правд, нет двух честностей, а есть только Правда и только Честность, остальное — Ложь, какими бы правдешками ее ни оправдывали и в какую бы розовую тогу ее ни наряжали...

Но это произойдет лет восемь-девять спустя. А сейчас... Сейчас мы, отыскав укромное безлюдное местечко на крутом берегу Клязьминского водохранилища, занимаемся сугубо прозаическим делом — печем картошку и ведем непринужденные разговоры на самые разные темы.

— Чего мать-то тебе пишет? — спрашиваю я.

— Просит, чтобы мы с тобой сегодня сильно не забутыливали, — шутливо шепчет Василий.

— А серьезно? Если, разумеется, это не тайна?

— А серьезно — сообщает, что в Сростках уже выкопали картошку и теперь на огородах ботву жгут. И еще пишет, что скоро на Алтай прикатит месяц октябрь на телеге, полной капустных кочанов, и тогда по всему селу застучат железные сечки. Хозяйки уже пропарили кипятком с калеными гальками и смородинными ветками бочки и промыли берёзовые корыта, в которых будут рубить капусту. Ах, как хорошо сейчас там! Как хорошо, земля!.. Ну, давай выпьем за нашу добрую землю, что учит нас говорить на языке родных берез!.. Что? Что? Выспренне выражаюсь? Ничуть!

Обжигая пальцы, ломаем черную хрустящую корку печеной картошки и закусываем снежно-белой крахмалистой мякотью.

— И что у людей за манера: чуть растрогаешься, заговоришь искренне, сердцем — сразу же тебя обвиняют либо в выспренности, либо в сентиментальности, — ворчит на меня Василий.

— Ну, я-то тебе так — шутя про выспренность брякнул, — говорю я и делюсь с Шукшиным своей душевной болью, которая будет угнетать меня неизбежно: — Тебе, Вася, хорошо: у тебя есть родина — твое село. А у меня вот нету.

— Как так?

— А так: Балахчин мой вместе с Таежной и другими всеми улицами исчез с лица земли.

— Не понимаю.

— А ты послушай. Жили в Балахчине тысячи три человек, большая часть их добывала золото. А потом золото — это случилось не так давно — вдруг разом кончилось, и люди вместе с домами переехали в райцентр Шира, что находится в семидесяти километрах. И шумит теперь на том месте, где я жил, учился и работал шахтером и геологом, молодая тайга. Ни единого домика не осталось! Понимаешь?

Василий в долгом молчании режет помидоры, ветчину, сыр — осмысляет, видимо, сказанное мною, а потом говорит:

— А ведь это очень печально — то, что ты мне сообщил, н-да... Исчезни-ка, к примеру, мои Сростки — мне, пожалуй, будет ничуть не легче, чем березе без корней. И это, земля, не громкие слова, не выспренность, а непреложная истина. Живу я вот в Москве, а соки-то жизненные, силы-то духовные и творческие черпаю отсюда — из Сростков, да... а вот откуда же ты теперь брать их будешь, а?

— Я не приверженец в писательстве какой-то одной-единственной темы, как ты. Конечно, я порой до слез жалею, что у меня нет больше родимого уголка с

отчим домом и милыми земляками, как у тебя, но, однако, что же делать! Жизнь в конце концов не сошлась клином на одном золотом руднике. Охотники, взрывники, таежные пастухи, строители железной дороги, учителя, художники... да мало ли самых разных людей, о коих я пишу и хочу писать! Ты же — сельский житель и меришь все, как говорится, от своей крестьянской телеги...

— Чудик ты! — вдруг снисходительно хлопает меня Василий по колену. — Да ты почитай мои рассказы повнимательней, и увидишь, что на телеге-то у меня самый разный люд едет. Сам народ-батюшка, да! Только наделен он чертами моих земляков-крестьян, потому что так мне легче и сподручней выражать свои мысли. Черты крестьянские — это как бы мое особое средство, своеобразное орудие художественного отображения общенародной жизни. А давал и дает мне это средство мой родимый уголок — Сростки. Вот о чем я тебе толкую. Я могу написать об артисте, о космонавте, о докторе технических наук, о служителе культа, о министре, о трактористе, об адмирале флота — о ком угодно! Но характеры, образы этих людей получатся у меня удачно лишь в том случае, если я, курчаво говоря, буду макать свое перо в чернильницу крестьянской жизни. Да, я сельский житель, крестьянин, мужик, но глубоко заблуждаются те, кто считает, что в голове у меня сидит только «соха». Любимый мною Сергей Есенин — он тоже из крестьян, тоже «от сохи», но он — поэт далеко не крестьянский, а общенародный, потому что, играя на своей березовой мужицкой лире, сумел затронуть ее звуками душу каждого — от самого простого мужика до суперинтеллигента. А удалось ему добиться этого тем, что лира его издавала звуки вечной общечеловеческой правды. Скажу откровенно, мне не важно, от крестьянской телеги или от заводского станка шагает литератор, главное — чтобы он шагал от большой жизненной правды, понятной и нужной всем. И в то же время я желаю каждому литератору иметь на земле свое Константиново, свою Вешенскую, свою Тарусу или хотя бы... — Тут Шукшин конфузливо кашляет. — Или хотя бы Сростки. А тебе мой совет: ты хоть и не приверженец какой-то одной темы, однако держись своей горной тайги, родной природы, которую ты, себе на счастье, знаешь и чувствуешь, как дикий зверь, а главное — любишь. Пиши, о чем хочешь, но все озаряй той любовью, теми добрыми чувствами, какие пробуждаются в тебе, когда ты сидишь при закате летнего дня у таежного костра, под зеленой крышей ласковой природы родного края.

— Прямо стихи в прозе! — восклицаю я шутивно.

— Сейчас я с тобой и о прозе потолкую, в частности о твоей, — строговато молвит Василий и спрашивает с прищуром: — Сколько у тебя на сегодня написано рассказов о природе?

— Около сорока таежных былей.

— Ого! А какого дьявола книгу не издал?

— Унижаться не хочу.

— Что это значит?

— А то! Году еще в шестидесятом отнес я кипу своих рассказов в «Литературу и жизнь» — пусть, думаю, обсудят. А редакция взяла, да и отдала их на рецензию одному студенту из Литинститута. И тот, начав с рассказа «Колдун», где я описываю повадки соболя, рябчиков и бурундуков, категорично заявил на официальном газетном бланке: «Бурундук — такого зверя в России нет, а поэтому «Колдун» и прочие рассказы вызывают сомнение в достоверности описываемого. К тому же язык всех рассказов изобилует областными словечками, как-то: «тайга», «кедрач», «сопка», «пихта» и т.п.». И подпись: «С приветом, литконсультант...»

— Великолепно! — хлопая себя руками по бедрам, хохочет Шукшин. — Ну и что ты после такой рецензии сделал?

— Сперва хотел пойти к этому самому рецензенту и потолковать с ним, но затем подумал, поразмыслил и решил, что к подобного рода деятелям, которые не знают элементарнейших вещей, мне, выросшему среди сопок, покрытых черно-синими пихтами, ходить унизительно.

— Обиделся, значит...

— Да, обиделся, но не на рецензента — что на него обижаться, раз он «с приветом»! — а на редакционные порядки — отдавать работы профессиональных литераторов на рецензии случайным людям.

— Да, за редакциями водится такой грешок — подкармливать рецензиями окололитературных мальчиков, которым в общем-то плевать на то, что они рецензируют, абы удалось заработать, — говорит Шукшин. — Но мне, к счастью, повезло — бог спас от встречи с ними. Я ввалился в редакцию и разыграл там роль сугубо занятого мужика. Обсудите, говорю им, мои рассказы немедленно, а то я на экзамен тороплюсь!.. И они, как это ни странно, особо долго тянуть не стали, обсудили без помощи мальчиков-рецензентов.

— Странного тут ничего нет: артист пришел — любопытно, интересно. Вот, к примеру, принеси им свои рассказы Олег Стриженов — тоже вмиг обсудят. Не понимаешь, что ли?

— Может быть, ты и прав, — раздумчиво произносит Василий. — Но ладно, не обо мне сейчас речь. Я, помнится, обещал сегодня кое-что вытащить из этой вот «берлоги», — он опять, как в такси, шутя тычет мне пальцем в голову.

— Тащи, разрешаю. А что надо-то?

— А вот что — дай мне твои рассказы, и я протолкну их в каком-нибудь издательстве.

— Нет! — отрубая я. — Сам, без протекций, протолкну, иначе уважать себя не стану.

Василий минуты две смотрит на меня сосредоточенно, а потом говорит, пожимая плечами:

— Не знаю, то ли уважать, то ли жалеть, то ли бить тебя надо за этот отказ. Ведь опять напорешься на какого-нибудь рецензентишку.

— На этот раз не напорюсь — ученый.

— Ну смотри, дело твое, но, если в ближайшие годы ты не подаришь мне свою хоть одну книжку, я перестану с тобой здороваться.

— И подарю! — заносчиво говорю я и тем самым как бы сжигаю за собой мосты для отступления. — Жди! И не одну!

И я действительно в недалеком будущем подарю ему сразу два сборника своих рассказов о природе: «Колдуна» и «Ошибку ястреба», которые выйдут в свет с благословения Сергея Венедиктовича Сартакова. Книжки будут адресованы самым маленьким читателям, но Василий Шукшин отзовется об их содержании так:

— А ведь это интересно всем — и малым и старым. Почаще публикуй такие рассказы, Игнаха. И не только отдельными книжками, но и в периодике. Подружись крепче с газетой «Сельская жизнь», с журналом «Юный натуралист» и шуруй!

И я подружусь. Но это все будет после, после. А сейчас я интересуюсь у Василия, когда он начал серьезно заниматься писательским делом, при этом говорю шутя:

— Вась, вот тебя как писателя не было, не было, не было и вдруг — ба! — объявился, как с неба свалился! Как так?

— Спасибо тебе, — с непонятым вызовом отвечает он.

— За что? — недоумеваю я.

— А помнишь, как я бегал за тобой по институту и умолял написать для меня сценарий по книге «Угрюм-река»?

Я припоминаю: да, было такое — просил, и не раз просил меня Шукшин перевести шишковский роман на сценарный язык: он хотел экранизировать «Угрюм-реку» то ли в курсовой, то ли в дипломной работе. Но я отказал ему, заявив, что-де писать экранизации — это не мое, хотя на самом деле поводом для отказа явилась совсем иная причина, о чем я скажу чуть позже.

— Помню, — говорю я Василию. — Но при чем здесь «Угрюм-река» и твое писательство?

— А при том — когда ты отказался помочь мне, я обругал в душе тебя, а заодно и всю вашу братию со сценарного факультета, а потом решил: сам напишу сценарий по «Угрюм-реке»! Но попробовал — ничего не получилось: уж слишком толстая книга. А тут как раз вышел в свет вгиковский альманах «Творчество молодых», где напечатали свои короткие рассказы ты, Коля Гонцов, Леха Габрилович и другие. Почитал я вас и сказал себе: «А чем я хуже этих пацанов? Ничем!». И взялся втихаря за перо. Пишу, помнится, ночами коротенькие вещицы, и вдруг чую: получается!.. С этого и пошло. Однако если уж всю правду сказать, я и прежде немало сочинял, только не нравились мне мои рассказы: не было в них одного «пустячка» — меня самого, моего «я», как, впрочем, и в моих стихах, которые я писал явно с голоса Сергея Есенина. Кстати, у меня стихами была заполнена целая тетрадь, только тетрадь эта куда-то запропала. Но, может быть, еще найдется... Интересно бы почитать в ней, чем полна была душа моя в юности... Ну да бог с ними, с этими стихами. Дай мне лучше твою собаку для разнообразия...

— Какую собаку? — теряюсь я.

— Да эту, что ты куришь, — он указывает на пачку сигарет «Друг», которую я только что распечатал и держу в руке.

Я даю, он прикуривает от уголька и продолжает:

— Вот, значит, таким манером я и стал писать всерьез. Конечно, я бы рано или поздно все равно взялся за перо по-настоящему, но твой тогдашний отказ от «Угрюм-реки» меня взорвал, уколел мое самолюбие и ускорил дело, да так лихо, что я нынче тебе и всем остальным сценаристам кричу в душе: «Что, съели? А-а! Так вам и надо... Догоняйте меня теперь, профдрамоделы!» — Василий в незлобивом торжестве машет мне рукой, как машут с подножки убегающего поезда. — Шиш догоните! Дуду-ду! Адью-у!..

— Вась, уж не хочешь ли ты зависть во мне пробудить? — усмехаюсь я. — Напрасно стараешься. Да! Потому что завидует тот, кто чувствует себя неполноценным. А я пока и телом здоров, и духом не болен, а главное — мне дано сказать то, чего ни ты, ни сам Шолохов не скажете, потому как это самое «то» есть мое, мне одному принадлежащее. Пусть маленькое, вот такусенькое, но — мое, пономаревское! А потому догонять тебя мне нет никакой надобности. У меня моя дорога, а ты своей кати. Адью!

— Молодец! Хорошо отшил!

— Адью! — повторяю я. — Кати! Только сперва выслушай правду, почему я отказался помочь тебе в экранизации «Угрюм-реки».

— Гением себя считал, вы там, на сценарном факультете, тогда все в гениях ходили — вот почему, — убежденно произносит Василий, выдавая тем самым свою особую обиду студенческих лет.

— Эх, ты! — укоризненно качаю я головой, изображая, что очень задет его словами. — Какую чепуху городишь, а еще Василий Шукшин!..

— Да, я Василий Шукшин!..

— Так слушай же правду, Василий Шукшин! Я не от экранизации отказался, а от тебя самого, потому что пугался тебя. Пугался, как быка бодучего! Взять, к примеру, наше общежитие: я в 329-й комнате обитал, а ты в 426-й, так я в сторону твоей комнаты ни единого шага без особой надобности не сделал: жутко было, потому что там — те! шу-шу-шу!.. Шукшин живет!

— Любопытно, — ерзает на траве Василий. — Чем же я тебя так страшил? Чем?

— Наряд твой — защитная гимнастерка, синие галифе и черные сапоги — вот что вызывало во мне чуть ли не животный страх!

— А вот это уже интересно. Но почему?

— А потому — в таком вот точно наряде к нам в Балахчин приезжал как-то из райцентра один уполномоченный, урезать у людей лишние метры огородной земли. Только бабы вскопают землю, он тут и заявляется: в руке у него сажень в виде огромной буквы «А», и рычит: «Я призыву вас к порядку!..» Бабы спорят, ревут, а я в бане прячусь. В ту пору я был мал и оттого страху столько набрался, что его потом хватило мне чуть ли не до четвертого курса ВГИКа.

— Кхэ. А отчего уж не до самого выпуска?

— А оттого — увидел тебя однажды на актерской площадке — ты там какую-то роль репетировал, в обычной гражданской одежде — и вдруг понял: «Ба! А Шукшин-то, оказывается, обыкновенный человек, если его вытряхнуть из этой зелено-сине-черной спецурсы...» Скажи — и на кой черт ты так одевался? Али не во что больше было?

Шукшин долго хмурится, невидяще глядя на угли костра, непонятно похмыкивает, а потом резко вскидывает голову:

— Наряд мой — это вызов ВГИКу, а точнее — призыв к благоразумию. Вгиковцы — про тебя не говорю, ты одевался просто — шастали по институту вечно кто с коконом, кто с локоном, и раздетые почти все, как попугаи. А деревня русская в ту пору даже по великим праздникам в «кухвайках» ходила. Ух, как чесались у меня руки снять солдатский ремень и выдрать некоторых а-ля бродвейцев! Буги-вуги, рок-н-ролл — «па-ба, па-ба!» — пляшут, помню, в общаге, и никакого-то им дела нет до того, что в этот час в деревне бабы с мужиками кричат, выбиваясь из последних сил, чтобы этим лоботрясам хлеба дать. Ух!..

— Вась, ты злился оттого, что танцевать не умел, — признайся хоть теперь-то, — пробую я свести разговор на шутку, так как Шукшин начинает сердиться уже всерьез.

— Умел, но не хотел! — режет он. — И мог бы одеваться, как они, но не одевался, потому что даже в одежде не желал походить на них!

— Да на кого «на них»-то?

— На пажонов, что поступали тогда во ВГИК, не имея за душой ничего, кроме папы-маминых громких фамилий да равнодушия и брезгливости к простому люду, — это я на своей шкуре испытал. Помню, иду однажды по третьему этажу института и вдруг слышу, как один слюнявый отпрыск важного папаши изрекает, обращаясь к другому: «Если говорить о возрождении интеллигенции в России, то

этот вопрос решится не скоро. Кстати, вон Шукшин — эта фамилия войдет в список интеллигентов, пожалуй, лишь в седьмом колене и то при условии, если ему вдруг удастся случайно закончить ВГИК и произвести потомство от кого-нибудь из нашей среды». А другой: «Безусловно: генетика!..».

— И ты не дал им по рожам?

— Дал! Но не тогда и не кулаком, а делом своим — фильмами, книгами. И еще дам, в гробину их! А они... Что они создали для народа, окончив ВГИК? Ничего путного! А кто и пытается создать что-либо о селе, о заводе, то делает это не сердцем, а жалкими вздохами дачника или туриста, идущего по деревне с сачком для ловли бабочек. А происходит это все потому, что они жаждут ставить фильмы только ради того, чтобы кичиться, что они-де режиссеры или они-де драматурги, то есть любоваться собой в искусстве, а не любить искусство в себе, которого в их душах не было и нет, потому что они пусты, точно мыльные пузыри, из-за своего равнодушия к болям жизни. Как во ВГИКе утверждали они себя пижонством, так и в искусстве пижонят, пустозвоны от кинематографа!

— «Они», «они»... Но ведь многие ребята, которые варились вместе с нами во вгиковской каше, уже что-то создали. И добротное! — спорю я. — И еще создадут!

— Я не про них говорю. Эти парни — личности, их признаю. Признаю за глубокие и серьезные размышления о жизни, за твердые гражданственные позиции и несомненные таланты. А злюсь я на безликих. Впрочем, даже не злюсь и не обижаюсь, а так... смотрю на них, как на раздражающую ошибку вгиковского высева, как на сурепку среди репы.

Василий откупоривает бутылку нарзана и, выпив ее до половины, говорит уже спокойнее:

— Есть у меня тайная задумка, открыть во ВГИКе свою творческую мастерскую. Поеду по городам и селам, понаберу там даровито пишущих мужиков с режиссерским видением, — а их много в России, уверен в этом! — и примусь из каждого своего ученика готовить сценариста и режиссера в одном лице. А? — он многозначительно подмигивает мне. — Ясна идея?

— Слушай, будущий профессор ВГИКа Шукшин, а не мечтается ли тебе еще живописцем или композитором стать?

— Рисовать не умею, а музыку сочинить могу, медведь на ухо не наступил, — вполне серьезно отвечает он и повторяет свой вопрос: — Так ясна тебе моя идея или нет?

— Ясна. Новых Шукшиных открывать собираешься. Это, конечно, замечательно, и я полностью — «за». Но думаю, что тебе сперва надо бы себя еще открыть до конца, например, как писателя. Ведь кто знает, может быть, ты велик, как сам Чехов, — без всякой иронии говорю я.

— Нет, — подумав, мотает Василий головой. — Я велик как Шукшин. Шукшин я! — он бьет себя в грудь кулаком. — Ну-ка, налей мне «Варны»! Хочу выпить за здоровье этого человека — Шукшина, и пожелать ему две жизни, потому что за одну жизнь ему никак не управиться с тем, что им замыслено.

Он выпивает, но не становится веселее, погружается как бы в забытье: глядит прямо мне в лицо, но меня явно не видит — ведет себя точь-в-точь, как сегодня утром, когда мы встретились.

— Вась, тебя что... все строчка донимает?

— А? — будто спросонья дергается он. — Что ты говоришь?

— Про строчку.

— А-а, да, да... Слышь, ты как пишешь?

— Одну к десяти.

— То есть?

— Ну, на одну страницу беловика приходится в среднем десяток черновых. А ты?

— А я без черновиков, и в этом моя беда. Завидую тебе, честное слово.

— Не понимаю, — искренне дивлюсь я.

— Ну, ты пишешь, пишешь, а как устанешь, то бросаешь и свободно занимаешься другим делом. Ведь так?

— Абсолютно верно, но откуда ты знаешь это?

— Подобным образом многие пишут. А я так не умею, не дано. Картину ли ставлю, в фильме ли снимаюсь, а вторым планом в голове все писанина идет. Вот сегодня, например, болтаю с тобой целый день, а в подсознании строчка, строчка...

— Да ты что — двухумственный, что ли?

— Ага, Гай Юлий Цезарь, — обижается он. — Я тебе про беду свою, а ты...

— Ну ладно, прости. А о чем-строчка-то?

— Кхэ, кабы я знал... Она у меня так — вдруг мелькнет, точно молния, а зафиксировать ее не удастся.

— Как зафиксировать?

— Ну, выразить в словах. Понимаешь? Нет, ты не поймешь, это трудно понять, потому что невозможно объяснить... Но ничего, я ее, блоху окаянную, поймаю. Схвачу! — Василий хапает ручищей воздух, будто муху ловит. — Не уйдет!.. Слышь, — он начинает подниматься на ноги, — пойдем гулять по полям русским!..

Уже добрый час бродим мы по широкому овсяному полю, с трех сторон окаймленному броской аlostью осин, золотом беломраморных берез и черноватым изумрудом толстых бронзовых сосен; четвертой стороной жнивье упирается в водную ровень рукотворного моря, а проще — в запруду на Клязьме-реке.

Бродим медленно и без всякой цели — так, по крайней мере, кажется мне. Оба подолгу молчим, вдосталь наболтавшись за день. Василий курит и все о чем-то думает, думает. Сейчас он удивительно похож на полеводческого бригадира, занятого решением важной сугубо земледельческой задачи. И я ничуть не удивился бы, если бы в этот миг к нему вдруг подошел колхозный тракторист и спросил: «Василий Макарыч, жнивье-то на зябь пустим или под пары оставим?», а Шукшин ответил бы кратко и деловито: «На зябь, конечно. Паши!» Или, наоборот, сказал бы: «Нельзя на зябь: земля устала!»

Иногда Василий останавливается, выдирает из земли пучок овсяной стерни и с интересом разглядывает чахлые корни, при этом странно, точно о чем-то сожалея, похмыкивает. А то возьмет щепоть земли, поплюет на нее и мнет пальцами, пытаясь скатать комочек. Но из этой затеи ничего не получается, и Василий после пятой или седьмой попытки громко молвит тоном заправского агронома:

— Не та почва. Не та! Почти голый песок, оттого и корни овса так себе. Вот на Алтае, или на Дону почва — будто черное масло! А тут... — он безнадежно машет рукой, однако потом произносит с особой упругостью в голосе: — Но все равно... земля!

И замирает на месте, медленно обводя взором поле и небо и как бы во что-то пристально вслушиваясь.

А в поле тихо, покойно. Но в то же время как бы и шумно, тревожно. Шумно от грустного звона красок осеннего леса, а тревожно от бордовой вечерней зари, что догорает на западе неба, где еще совсем недавно пылало солнце. От жнивья, крепко прогретого за день горячим светом, сейчас исходит парной дух овсяной соломы и горькой полыни, смешиваясь с прохладными струями воздуха, что невидимо ползут из леса, полные запахов прелой листвы и грибов. Василий по-звериному тянет носом и восклицает громогласно, весомо и утверждающе:

— Да, земля!

— Земля... земля... ля... — вторит эхо.

— Вот! — у Василия в глазах вспыхивают озорные искры, и он по-детски ликующе шепчет: — Слышишь — сама земля подтверждает это! А раз так, — он решительно расстилает на стерне плащ, — надо присесть... Хорошо здесь!

Садимся и оба надолго умолкаем, слушая звонкую осеннюю тишину поля и глядя по сторонам. На юго-востоке в глубокой вышине зеленоватого неба до дерзости хлестко и ярко для этого времени суток блестит золотая луна, чуть прикрытая легким малиновым облачком. По берегу водохранилища мальчик в синей рубашке ведет под уздцы белого коня, и конь, освещенный угасающим светом зари, кажется розоватым, как птица фламинго. На опушке леса темнеет стог сена, накрытый сверху толем. На нём сидит серая ворона и, что-то прижимая лапой, усердно клюет. А над головой, со свистом разрезая воздух крыльями, проносятся четыре перелетные утки — спешат на ночлег к водоему. Вдруг далеко за лесом начинают мычать коровы, и где-то звонко-звонко взлаивает собака. А от земли продолжает идти тепло, и голову кружат ее терпкие запахи... Тихо и звучно в осеннем поле, отрадно, и все-то вокруг овееяно миром и добрым, светлым покоем.

— Хорошо здесь! — повторяет Шукшин в глубоком раздумье. — Потому что все в согласии, как быть следует. День вон сменился вечером, вместо солнца засиял полный месяц, ворона делает свое воронье дело, а утки улетели спать на воду... Гармония стихии! Н-да...

Помолчав немного, Василий вдруг поворачивает ход своих мыслей на глобальную тему:

— Странно: в сей неразумной природе все разумно, а у нас же, существ мыслящих, населяющих планету Земля, как это ни парадоксально, еще царит дисгармония. И она будет до тех пор, пока человечество не покончит с обывательщиной, порождающей равнодушие. Ибо равнодушие — это попустительство всем безобразиям, что творятся в человеческом Доме. Как-то я разговаривал на ВДНХ с одним американцем, и речь у нас зашла о Пентагоне. «Пентагон? — задумался американец. — Ах, да, Пентагон — знаю! Это... как это по-русски?.. «Ястребы» там — вот! Но мне нет до них дела, я сам по себе. У меня есть это... как это? маленький лавочка»... Ты понял, земля? «Сам по себе» — вот где, оказывается, собака зарыта! Вот где корень зла! Именно такие вот «сами по себе» и допустили однажды к власти Гитлера и прочих разных фюреров и дуче. «Сам по себе»... — Шукшин зло закуривает. — Тут шар земной висит на волоске, а он уткнулся рылом в свою «маленький лавочка» и больше знать ничего не хочет... Обыватели, конем бы их топтать!

Василий презрительно сплевывает сквозь зубы и умолкает, склонив голову на грудь в глубокой угрюмости.

А в природе, пока он говорил, уже все изменилось. Заря догорела, и небо, где она полыхала, сделалось матовым и неказистым. Над водоёмом закурился туман

и начал тихо наступать на жнивье. Луна поднялась совсем высоко и стала еще яростней в своем золотом сиянии, а рядом с ней объявилась и весело блестит яркая лучистая звездочка. Но Шукшин ничего этого в данный момент не видит: он ослеплен черным светом своего возмущения.

— Равнодушие, в чем бы и где бы оно ни проявлялось, — заявляет он, не поднимая головы, — его надо бить и бить. Равнодушие — это болото. Конечно, на Руси нет таких вот глобально опасных «сам по себе», потому как нет частных лавочек. Но равнодушных еще предостаточно. И я без сожаления, даже с яростью, угрожаю всю мою жизнь, чтобы хоть на Руси до конца осушилось это болото. Не-ет, я не строю иллюзий, что оно осушится скоро, при мне. Но свою посильную лепту я в это доброе дело внесу. Внесу! Иначе кто я буду? Да тот же самый обыватель, не больше!

Шукшин говорит негромко, сквозь крепко стиснутые зубы, потому что старается изо всех сил сдерживать в себе бурю чувств, отчего слова его клятвы звучат так сильно и убедительно, точно их произносит сама Правда.

Я гляжу на него, и мне невольно становится даже физически зябко: этот человек на самом деле, прямо на моих глазах «угроживает» себя — даже здесь, вдали от людского моря, на дорогом его сердцу тихом поле, он не может никак отрешиться от мысли о неустроенности человеческого Дома и успокоиться.

Желая его отвлечь, я почти кричу:

— Вась, да подними ты голову и глянь, какой туманище стоит над водоемом! А луна-то, луница-то какая! Я отродясь еще подобной не видывал!

— Кхэ, и правда, хорошо, — осмотревшись окрест, крикает он, и лицо его, освещенное луной, делается умиротворенным. — Дивно даже, да...

— А в наших сибирских краях уже новые сутки наступили, — сообщаю я, стараясь все дальше и дальше увести Василия от его тягостных раздумий. — Там теперь без четверти час пополуночи.

— Да, так и есть, — поглядев на стрелки наручных часов, подтверждает он и прищуривается. — Интересно, чем же мои земляки сейчас занимаются? Поди, спят... а молодежь — та над Катунью в берёзовом колке резвится под луной, если там луна еще не закатилась.

— Не должна бы пока, — говорю я и задаю вопрос: — Вась, а почему в твоей Катунь вода такая илисто-мутная, а Бия прозрачная, как роса?

— Это от бога, — отшучивается он. — Чтобы Обь-матушка, которая образуется из этих рек, не задавалась, что она чиста, как сама Ангара, дочь Байкала, из коего, по слухам, пьет сам бог... Кстати, как прекрасно жилось в старину обывателям: если что непонятно, то легко объясняли, говоря: «От бога так!» или «Так от лукавого!» Изрекут — и все, крышка! И ты, ум пытливей, не смей попробовать открыть тайну — сожгут к черту!.. Сколько же человечеству пришлось погореть на кострах, прежде чем...

— Вась, это всем известно, — умышленно перебиваю я. — Лучше скажи — водится ли в Катунь таймень?

— Таймень?.. Спасибо химикам — перестал водиться. Сейчас широколобку и ту не поймашь, совсем рыба пропала. А ведь была... Эх, поставишь, бывало, в пацанах, перемет в реку — раньше, до «химизации» рек, это разрешалось — и сидишь себе у костра... — Василий весь уходит в воспоминания, чего я, собственно, и добивался. — Сидишь, из леса густые сумерки ползут на воду, а середина реки, сам ее стрежень, долго еще блестит, точно там огромная длинная рыба несётся, играя своим серебром...

Василий неожиданно умолкает на полуслове и, уставившись на меня отсутствующим взглядом, машинально вынимает из кармана авторучку, взмахивает ею, как дирижерской палочкой, и вдруг радостно вскрикивает:

— Ага! Поймал, наконец-то, ее, блоху окаянную!.. — он вскакивает на ноги. — Нашел — а! Молодец, Шукшин!

— Поймал, а чего медлишь? Записывай! — тороплю я.

— Зачем? — он спокойно кладет авторучку в карман. — Теперь она уже никуда от меня не упрыгнет. Отсюда, — он стучит себе пальцами по лбу, — ей только одна дорога — в рассказ. (Я удивлен.) Да! Уж такая моя метода, как любили выражаться в старину профессора... Ну, айда домой. Больше мне здесь делать нечего, кончен мой бал на сегодня. Рад: выходной не пропал даром. Да и тебе он когда-нибудь пользой обернется: к примеру, сей вечер волшебный опишешь.

«Так вот зачем он так рвался нынче в поле — строчку найти», — наконец-то доходит до меня смысл всей нашей сегодняшней одиссеи.

— Ну и что же за строчка-то у тебя получилась? — с особым интересом спрашиваю я. — Можешь сказать?

— Не скажу, это мой секрет, — медленно обводя взором окрестности, отвечает он и произносит: — Ну что, земля... спасибо тебе за все. И прощай до новых встреч. Пока!

И в этот миг мне всерьез кажется, что Василий владеет какой-то особой тайной общения человека с землей, знать которую дано лишь ему — Василию Шукшину.

...Часа через три такси привозит нас к кинотеатру «Сатурн», к которому мы заезжаем, чтобы забрать старинный сундук.

— А ляря-то и нет: взял кто-то... — огорченно произносит Василий, но, поразмыслив, заключает неожиданно: — Ну и хорошо, что нет. Значит, не я один такой в Москве. И это прекрасно!..

— И это прекрасно... — повторяет он, расставаясь со мной на пятом этаже нашего дома, и вместо «до свидания» говорит строго: — Пиши, земля! Готовь творческий отчет себе и людям, зачем ты пришел на белый свет! Пиши!!

И он направляется в квартиру № 33, чтобы продолжать работу над своим, шукшинским «отчетом по жизни», а я поднимаюсь к себе на девятый этаж и выхожу на балкон.

Спит Москва, озаренная светом небольшой красноватой луны, которая над городом всегда выглядит меньше и тусклее, чем в поле. Спит Москва, смежив четырнадцать миллионов глаз, уставших за день, а вместе с нею спят и все жильцы нашего дома. Скоро засну и я, погасив свет в квартире. И дом наш наполнится сплошной темнотой.

И только в одном окне свет останется гореть до утра — там будет бодрствовать Василий Шукшин, имеющий обыкновение писать по ночам, иной раз без сна суток по двое кряду. И может быть, именно в эту ночь на бумагу ляжет такое вот предложение:

«...сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная рыба несётся серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим».

Я прочту его спустя много лет в рассказе Василия Шукшина «Миль пардон, мадам!» и враз догадаюсь, что это и есть как раз та самая «строчка», которую он «поймал» в нашей с ним «беседе при ясной луне». И мне в деталях припомнятся нынешний день и Василий, весь издерганный, нервный и то и дело уходящий взглядом в себя.

— Ах, строчка, строчка! — выписывая из рассказа предложение в тетрадь себе на вечную память, скажу я. — Казалось бы, совсем и незамысловатая, но каких сил и мучений стоила ты своему создателю!

Потом я мысленно подсчитаю, что в книгах Василия Шукшина тысячи предложений, и помножу их на муки одного лишь дня, причем выходного, а затем прибавлю к этому еще тяжкие творческие будни Шукшина — режиссера, сценариста, актера — и, потрясенный, однажды приду в сиротливом одиночестве такой же вот лунной ночью на знакомое «шукшинское» поле у Клязьмы и тихо крикну:

— Василий, ты совершил творческий подвиг!

И «шукшинское» поле подтвердит это упругим эхом:

— Подвиг... подвиг... подвиг...

А с неба будет литься свет все той же ясной луны, под которой у Василия Шукшина рождались в сердечных беседах с людьми и в тревожных раздумьях о судьбе народа его золотые строчки...

*Публикацию подготовил журналист Василий Иванченко
(«Наш современник», 1981 г. № 3)*